

ТОМАС
МАНН

Будденброки



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Томас Манн
Будденброки

«Издательство АСТ»

1901

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

Манн Т.

Будденброки / Т. Манн — «Издательство АСТ»,
1901 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-100063-9

Жемчужина творческого наследия Томаса Манна. Едва ли не лучший роман в жанре «семейной саги» немецкоязычной прозы. История взлета и падения богатой и могущественной семьи Будденброк, на первый взгляд словно воплощающей в себе идеал германских добродетелей. История трех поколений представителей этого клана – от властного и безжалостного патриарха до его внуков, уже подверженных всем порокам и слабостям интеллектуалов. История любви и предательств, вражды и интриг, борьбы и зависти, исступленной страсти – и жгучей ненависти...

УДК 821.112.2

ББК 84 (4Гем)

ISBN 978-5-17-100063-9

© Манн Т., 1901

© Издательство АСТ, 1901

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвертая	15
Глава пятая	18
Глава шестая	21
Глава седьмая	23
Глава восьмая	25
Глава девятая	28
Глава десятая	29
Часть вторая	33
Глава первая	33
Глава вторая	38
Глава третья	41
Глава четвертая	43
Глава пятая	46
Глава шестая	49
Глава седьмая	51
Часть третья	55
Глава первая	55
Глава вторая	60
Глава третья	64
Глава четвертая	67
Глава пятая	69
Глава шестая	73
Глава седьмая	76
Глава восьмая	79
Глава девятая	83
Глава десятая	85
Глава одиннадцатая	87
Глава двенадцатая	90
Глава тринадцатая	92
Глава четырнадцатая	94
Глава пятнадцатая	97
Часть четвертая	99
Глава первая	99
Глава вторая	103
Глава третья	106
Конец ознакомительного фрагмента.	111

Томас Манн

Будденброки

© S. Fischer Verlag, Berlin, 1901

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2010

© Перевод стихов. А. Глоба, наследники, 2010

© Издание на русском языке AST Publishers, 2011

Часть первая

Глава первая

– «Что сие означает?.. Что сие означает?..»

– Вот именно, черт возьми, *c'est la question, ma très chère demoiselle!*¹

Консульша Будденброк, расположившаяся рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью, и спинкой, увенчанной золоченой головою льва, бросила быстрый взгляд на супруга, сидевшего тут же в креслах, и поспешила на помощь дочке, которая примостилась на коленях у деда, поближе к окну.

– Тони, – подсказала она, – «Верую, что Господь Бог...»

Маленькая Антония, хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из легчайшего переливчатого шелка, чуть отвернув белокурую головку от лица деда и напряженно вглядываясь в пустоту серо-голубыми глазами, повторила еще раз: «Что сие означает?» – затем медленно произнесла: «Верую, что Господь Бог...» – вдруг с прояснившимся лицом быстро добавила: «...создал меня вместе с прочими тварями», – и, войдя в привычную колею, вся так и светясь радостью, единым духом выпалила весь член катехизиса, точно по тексту издания 1835 года, только что выпущенного в свет с соизволения высокоумудрого сената.

«Когда уж разойдешься, – думала она, – то кажется, будто несешься с братьями на салазках с Иерусалимской горы. Все мысли вылетают из головы, и хочешь не хочешь, а нельзя остановиться».

– «К тому же: платье и обувь, – читала она, – пищу и питье, дом и двор, жену и детей, землю и скот...»

Но при этих словах старый Иоганн Будденброк неожиданно разразился смехом, вернее – хихикнул, громко и саркастически; этот смешок он уже давно держал наготове. Старика радовало, что вот опять удалось потешиться над катехизисом, – цель, ради которой, вероятно, и был учинен весь этот домашний экзамен. Он тут же осведомился о количестве земли и скота у Тони, спросил, почем она продает мешок пшеницы, и предложил незамедлительно вступить с ней в торговую сделку. Его круглое розовое лицо, которому он при всем желании не умел придать выражения суровости, обрамлялось белыми как снег, напудренными волосами, а на широкий воротник мышино-серого сюртука спускалось некое подобие косички. В семьдесят лет он все еще хранил верность моде своей юности, и хотя отказался от галунов между пуговицами и большими карманами, но длинных брюк в жизни не нашивал. Его широкий двойной подбородок уютно покоился на кружевном жабо.

Все стали вторить его смеху, – надо думать, из почтения к главе семьи. Мадам Антуанетта Будденброк, в девичестве Дюшан, захихикала совершенно как ее супруг. Эта дородная дама с тугими белыми буклями, спускавшимися на уши, в простом черном платье со светло-серыми полосами – что свидетельствовало о ее врожденной скромности, – держала в белоснежных, все еще прекрасных руках маленький бархатный мешочек-«помпадур». Черты ее лица с течением времени стали до странности схожи с чертами мужа. Только разрез и живость темных глаз выдавали ее полуроманское происхождение: уроженка Гамбурга, она со стороны деда происходила из франко-швейцарской семьи.

Ее невестка, Элизабет Будденброк, урожденная Крегер, смеялась тем крегеровским хохотком, который начинался неопределенным шипящим звуком; смеясь, она прижимала к

¹ В том-то и вопрос, дорогая моя барышня! (*фр.*)

грудь подбородок. Как все Крегеры, консульша отличалась величавой осанкой, и хоть и не была красавицей, но ее чистый, ровный голос, ее спокойные, уверенные и мягкие движения радовали всех и каждого своей чинной неторопливостью. Рыжеватые волосы, на макушке уложенные в маленькую корону и крупными локонами спускающиеся на уши, превосходно гармонировали с нежной белизной ее кожи, на которой здесь и там проступали крохотные веснушки. Наиболее характерным в ее лице с несколько длинным носом и маленьким ртом было полное отсутствие углубления между нижней губой и подбородком. Коротенький лиф с пышными буфами на рукавах, пришитый к узкой юбке из легкого, в светлых цветочках, шелка, оставлял открытой прекрасную шею, оттененную атласной ленточкой со сверкающим бриллиантовым аграфом посередине.

Консул нервно заерзал в креслах. Он был одет в светло-коричневый сюртук с широкими отворотами, с рукавами, пышными наверху и плотно облегающими руку от локтя до кисти, и в узкие белые панталоны с черными лампасами. Плотный и широкий шелковый галстук, обвивая высокие стоячие воротнички, в которые упирался его подбородок, заполнял собою весь вырез пестрого жилета. Глаза консула, голубые и довольно глубоко посаженные, внимательным выражением напоминали глаза его отца, но казались более задумчивыми; серьезнее, определеннее были и черты его лица – нос с горбинкой сильно выдавался вперед, а щеки, до половины заросшие курчавыми белокурыми баками, были значительно менее округлы, чем щеки старика.

Мадам Будденброк слегка дотронулась до руки невестки и, уставившись ей в колени, тихонько засмеялась.

– Он неизменен, *mon vieux*!² Не правда ли, Бетси? – Она выговаривала: «неизмэнен».

Консульша только слабо погрозила своей холеной рукой, на которой тихонько звякнули браслеты, и затем этой же рукой – излюбленный ее жест! – быстро провела по щеке от уголка рта ко лбу, словно откидывая непокорную прядь волос.

Но консул, подавляя улыбку, произнес с легким укором:

– Папа, вы опять потешаетесь над религией...

Будденброки сидели в «ландшафтной», во втором этаже просторного старинного дома на Менгштрассе, приобретенного главой фирмы «Иоганн Будденброк», куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах, отделенных от стен небольшим полым пространством, были вытканы разнообразные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стершийся ковер на полу, – идиллии во вкусе XVIII столетия, с веселыми виноградарями, рачительными хлебопашцами, пастушками в кокетливых бантах, сидящими на берегу прозрачного ручья с чистенькими овечками на коленях или целующимися с томными пастушками... Все это, за редким исключением, было изображено на фоне желтоватого заката, весьма подходившего к желтому штофу лакированной белой мебели и к желтым шелковым гардинам на окнах.

Большая ландшафтная была меблирована относительно скупо. Круглый стол на тонких и прямых ножках, с золотым орнаментом, стоял не перед софой, а у другой стены, напротив маленькой фисгармонии, на крышке которой лежал футляр с флейтой. Кроме кресел, чопорно расставленных вдоль стен, здесь еще был маленький рабочий столик возле окна, а около софы – хрупкий изящный секретер, уставленный безделушками.

Против окон, в полутьме, сквозь застекленную дверь виднелись колонны, ротонда; белая двустворчатая дверь по левую руку вела в большую столовую, а направо, в полукруглой нише, стояла печь; за ее искусно сработанной и до блеска начищенной кованой дверцей уютно потрескивали дрова.

² Мой старик! (*фр.*)

В этом году рано наступили холода. За окнами, на другой стороне улицы, уже совсем пожелтела листва молодых лип, которыми был обсажен церковный двор; ветер завывал среди могучих стрельчатых башен и готических шпилей Мариенкирхе, моросил холодный дождь. По желанию мадам Будденброк-старшей в окна уже были вставлены вторые рамы.

Согласно заведенному порядку, Будденброки каждый второй четверг собирались вместе. Но сегодня, кроме всех членов семьи, проживавших в этом городе, приглашение запросто отобедать получили еще несколько друзей дома. Время близилось к четырем часам, Будденброки сидели в сгущающихся сумерках и ждали гостей.

Маленькая Антония все «неслась на салазках», не позволяя деду прервать себя, и только ее оттопыренная верхняя губка быстро-быстро выставлялась над нижней. Вот санки уже подлетели к подножию Иерусалимской горы, но, не в силах остановить их, она помчалась дальше...

– Аминь, – сказала она. – Я еще и другое знаю, дедушка.

– *Tiens!*³ Она знает еще и другое! – воскликнул старик, делая вид, что его снедает любопытство. – Ты слышишь, мама? Она знает еще и другое! Ну кто мог бы сказать...

– Если теплый удар, – говорила Тони, кивая головкой при каждом слове, – так, значит, это молния; а если холодный удар, так, значит, – гром.

Тут она скрестила руки и окинула смеющиеся лица родных взглядом человека, уверенного в своем успехе. Но г-н Будденброк вдруг рассердился на ее премудрость и стал допытываться, кто набил голову ребенка таким вздором. А когда выяснилось, что это Ида Юнгман, недавно приставленная к детям мамзель из Мариенвердера, то консулу пришлось взять бедную Иду под свою защиту.

– Вы слишком строги, папа. Почему бы в ее возрасте и не иметь своих собственных, пусть фантастических, представлений обо всем этом?..

– *Excusez, mon cher, mais c'est une folie!*⁴ Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда детям забивают мозги чепухой! Как? Гром? Да чтоб ее самое громом разразило! Оставьте меня в покое с вашей пруссачкой...

Старый Будденброк не выносил Иду Юнгман. Он не был ограниченным человеком и немало повидал на своем веку. Еще в 1813 году ему довелось (в карете, запряженной цугом) объездить Южную Германию, где он, будучи военным поставщиком, закупал хлеб для прусской армии, а позднее побывать в Париже и в Амстердаме. Почитая себя человеком просвещенным, он отнюдь не был склонен осуждать все, что находилось за воротами его родного готического городка. Но при всем том, если не говорить о его разнообразных торговых связях, был значительно строже в выборе знакомых, чем его сын, консул Будденброк, и куда менее охотно сближался с «чужестранцами». Посему, когда его дети, вернувшись из поездки в Западную Пруссию, привезли с собой упомянутую двадцатилетнюю девицу, сироту, дочь трактирщика из Мариенвердера, умершего за несколько дней до прибытия туда молодых Будденброков, консулу пришлось выдержать нешуточную сцену с отцом, во время которой старик говорил только по-французски и по-нижненемецки... Вообще же Ида Юнгман, усердная экономка и отличная воспитательница, благодаря своему врожденному такту и прусскому чинопочтению как нельзя лучше пришлась ко двору в семействе Будденброков. Преисполненная самых аристократических воззрений, эта особа с неподражаемой тонкостью различала высший свет от просто света, среднее сословие – от пониже среднего, гордилась своей преданной службой людям столь высокопоставленным и бывала очень недовольна, если Тони заводила дружбу с какой-нибудь из своих одноклассниц, принадлежавшей, по мнению мамзель Юнгман, разве что к верхушке среднего сословия.

³ Каково! (*фр.*)

⁴ Уж прости, дорогой, но это вздор! (*фр.*)

Легкая на помине, она в эту минуту как раз промелькнула за стеклянной дверью в ротонде и вошла в ландшафтную. Рослая, сухопарая, в черном платье, гладко причесанная и с добродетельным выражением лица, она вела за руку маленькую Клотильду – необыкновенно худенькую девочку в пестром ситцевом платьице, с тусклыми пепельными волосами и постным личиком старой девы. Клотильда – отпрыск боковой и совершенно неимущей линии, тихое, малозаметное существо, взятая в дом как сверстница Антонии, была дочерью племянника старого Будденброка, управляющего небольшим имением под Ростоком.

– Стол накрыт, – объявила мамзель Юнгман, при этом «р», которое она в детстве вовсе не умела произносить, как-то странно пророкотало в ее глотке. – Клотильда так усердно помогала на кухне, что Трине почти не осталось работы.

Господин Будденброк ухмыльнулся в свое жабо («иноземное» произношение Иды неизменно смешило его), консул же потрепал племянницу по щечке и одобрительно заметил:

– Молодец, Тильда! Недаром говорится: трудись и молись! Нашей Тони следовало бы брать с тебя пример, – ее частенько одолевают лень и гордыня...

Тони опустила головку и снизу вверх поглядела на деда, зная, что он непременно вступится за нее.

– Э, нет! Так не годится, – сказал старик. – Голову выше. Тони, courage!⁵ Каждому свое. Заметь себе: одинаковых людей не бывает. Тильда – хорошая девочка, но и мы не плохи. J'ai raison⁶, Бетси?

Он обернулся к невестке, которая обычно соглашалась с его мнениями, тогда как мадам Антуанетта, скорее из благоразумия, чем по убеждению, всегда становилась на сторону консула. Так оба поколения, словно в *chassé croisé*⁷, протягивали друг другу руки.

– Вы очень добры к ней, папа, – сказала консульша. – Ну, Тони постарается стать умной и трудолюбивой... Что, мальчики еще не пришли из школы? – спросила она Иду.

Но в это время Тони, которая все еще сидела на коленях у деда и смотрела в «шпиона», воскликнула:

– Том и Христиан идут по Иоганнесштрассе... И господин Гофштеде... и дядя доктор тоже...

Тут колокола на Мариенкирхе заиграли хорал – динь! динь! дон! – не очень стройно, так что с трудом можно было разобрать, что, собственно, они вызванивают, но все же торжественно и гулко. А когда затем вступили маленький и большой колокола, радостно и величаво оповещая город, что вот уже четыре часа, – внизу, у обитой войлоком парадной двери, задрезжал колокольчик, и действительно вошли Том и Христиан вместе с первыми гостями: Жан-Жаком Гофштеде – поэтом и доктором Грабовым – домашним врачом.

⁵ Смелее! (*фр.*)

⁶ Не так ли (*фр.*).

⁷ Крест-накрест – па в кадрили (*фр.*).

Глава вторая

Господин Гофштеде, местный поэт, уж наверное, принесший с собой стишки по случаю сегодняшнего обеда, был всего на несколько лет моложе г-на Будденброка-старшего и носил костюм того же старинного покроя: зеленый сюртук, в который он сегодня облекся, только по цвету разнился от сюртука его старшего друга. Более худой и подвижный, нежели Иоганн Будденброк, г-н Гофштеде обращал на себя внимание живостью маленьких зеленоватых глаз и на редкость острым длинным носом.

– Приношу сердечную благодарность, – сказал он, пожав руки мужчинам и щегольнув перед дамами (в особенности перед консульшей, которую он почитал превыше всех остальных) парочкой-другой изысканнейших комплиментов, какие уже не умело отпускать новейшее поколение, и к тому же сопровождаемых приятнейшей и приветливейшей улыбкой. – Приношу сердечную благодарность за любезное приглашение, друзья мои. Эти два молодых человека, – он указал на Тома и Христиана, стоявших подле него в синих курточках с кожаными поясами, – повстречались нам, мне и доктору, на Кенигштрассе, по которой они возвращались со своих учебных занятий. Отличные ребята, госпожа консульша! Томас – о, это серьезный, положительный ум! Не подлежит сомнению, что он станет негоциантом. Христиан же – тот, напротив, чуть-чуть шарлатан, а? Чуть-чуть *incroyable*⁸. Но я не скрываю своего *engouement*⁹ к нему. Он пойдет по ученой части: ум у мальчика острый, – великолепные задатки!..

Господин Будденброк запустил два пальца в свою золотую табакерку:

– Обезьяна он! Может, ему стать поэтом? А, Гофштеде?

Мамзель Юнгман плотно задвинула занавеси на окнах, и мгновение спустя комнату озарил слегка дрожащий, но покойный и отрадный для глаза свет от многочисленных свечей в хрустальной люстре и в канделябрах, стоявших на секрете.

– Ну, Христиан, – обратилась к сыну консульша; волосы ее блеснули золотом, – чем вы занимались сегодня после обеда?

Выяснилось, что последними уроками были чистописание, арифметика и пение.

Христиан, семилетний мальчуган, уже сейчас до смешного походил на отца. Те же небольшие, круглые, глубоко посаженные глаза, та же, теперь уже различимая, линия большого горбатого носа; что-то неуловимое в очертаниях скул свидетельствовало о том, что его лицо недолго будет хранить свою детскую округлость.

– Мы ужас как смеялись сегодня! – словоохотливо начал Христиан, и глаза его забегали. – Послушайте, что господин Штенгель сказал Зигмунду Кестерману! – Мальчик весь как-то сгорбился, тряхнул головой и, обратив свой взор в пространство, внушительно проговорил: – «Внешность, милое мое дитя, у тебя чинная и благопристойная, но душа, милое дитя, – душа у тебя черная...» – Последнее слово он произнес картаво, так что выходило «тшойная», и его лицо при этом со столь неподражаемым комизмом изобразило отвращение к «внешней» чинности и благопристойности, что все присутствующие разразились хохотом.

– Обезьяна он! – сдерживая смех, повторил старый Будденброк.

Господин Гофштеде был вне себя от восторга.

– *Charmant!*¹⁰ – вскричал он. – Бесподобно! Надо знать Марцеллуса Штенгеля! Ну точь-в-точь! Нет, это прелестно!

Томас, начисто лишенный подражательного дара, стоял рядом с братом и, не испытывая к нему ни малейшей зависти, только от души смеялся. Зубы у него были не очень хороши

⁸ Оригинал (*фр.*).

⁹ Пристрастия (*фр.*).

¹⁰ Очаровательно! (*фр.*)

– мелкие и желтоватые, но зато нос отличался на редкость благородной формой; глазами и овалом лица он сильно напоминал деда.

Гости и хозяйева сидели кто в креслах, кто на софе, болтая с детьми, обмениваясь впечатлениями о новом доме, о рано наступивших холодах. Г-н Гофштеде, стоя у секретера, любовался великолепной чернильницей севрского фарфора в виде муругой охотничьей собаки. Доктор Грабов, ровесник консула, с благодушной улыбкой на длинном добром лице, выглядывавшем из поросли жидких бакенбардов, рассматривал пирожные, булочки с изюмом и всевозможные солонки, выставленные напоказ гостям. То была «хлеб-соль», которой друзья и родственники обильно одарили Будденброков по случаю новоселья. А дабы каждому было ясно, что дары исходят из богатых домов, роль хлеба здесь выполняло сладкое, пряное и сдобное печенье, а соль была насыпана в массивные золотые солонки.

– Да, работы у меня будет немало, – сказал доктор, глядя на эти сласти, и погрозил детям пальцем. Затем, покачав головой, взвесил на руке тяжелый золотой судок для соли, перца и горчицы.

– От Лебрехта Крегера, – сказал г-н Будденброк с насмешливой улыбкой. – Он неизменно щедр, мой любезный сват! Я ему ничего подобного не даривал, когда он выстроил себе летний дом за Городскими воротами. Но... что поделаешь: благородные замашки! Широкая натура! Вот уж в полном смысле *cavalier à la mode*¹¹.

Колокольчик у дверей прозвенел на весь дом. Явился пастор Вундерлих, приземистый пожилой господин в длиннополом черном сюртуке, белолицый, веселый, добродушный, с блестящими серыми глазами и со слегка припудренной шевелюрой. Он уже много лет вдовел и привык считать себя холостяком, таким же, как долговязый маклер Гретъенс, пришедший вместе с ним, который то и дело прикладывал к глазам сложенные трубою руки, точно рассматривал картину: он был общепризнанный ценитель искусства.

Вслед за ними прибыли сенатор доктор Лангхальс с женой, давние друзья дома, и вино-торговец Кеппен, большеголовый, с красным лицом, торчавшим между высокими буфами рукавов, в сопровождении своей дебелой супруги.

Уже пробило половина пятого, когда наконец заявили Крегеры – старики и молодые: консул Крегер с женой и сыновьями, Якобом и Юргеном, однолетками Тома и Христиана. Почти одновременно с ними вошли родители консульши Крегер – оптовый лесоторговец Эвердик с женой; нежные супруги, и сейчас еще при всех именовавшие друг друга альковными кличками.

– «Важные господа не спешат никогда», – произнес консул Будденброк и склонился к руке тещи.

– Но зато в полном сборе. – С этими словами Иоганн Будденброк широким жестом указал на многолюдную крегеровскую родню и пожал руку старику Крегеру.

Лебрехт Крегер, *cavalier a la mode*, высокий, изысканный господин, хотя и продолжал слегка припудривать волосы, но одет был по последней моде. На его бархатном жилете сверкали два ряда пуговиц из драгоценных камней. Юстус, его сын, носивший маленькие бакенбарды и высоко подкрученные усы, фигурой и манерами очень походил на отца; даже движения рук у него были такие же округлые и грациозные.

Никто не спешил садиться, все стояли в ожидании, лениво ведя предобеденный разговор. Но вот Иоганн Будденброк-старший предложил руку мадам Кеппен и громко провозгласил:

– Ну-с, надо думать, что у всех уже разыгрался аппетит, а посему, *mesdames et messieurs*...¹²

¹¹ Светский лев (*фр.*).

¹² Милостивые государыни и государи... (*фр.*)

Мамзель Юнгман и горничная распахнули белую дверь в большую столовую, и общество неторопливо направилось туда в приятной уверенности, что уж где-где, а у Будденброков гостей всегда ждет лакомый кусочек...

Глава третья

Когда все шествие двинулось в столовую, младший хозяин схватился за левый нагрудный карман своего сюртука, – там хрустнула какая-то бумага, – и любезная улыбка, внезапно сбежавшая с его лица, уступила место озабоченному, удрученному выражению; на висках у него напряглись и заиграли жилки, как у человека, крепко стиснувшего зубы. Для виду сделав несколько шагов по направлению к двери, он отступил в сторону и отыскал глазами мать, которая в паре с пастором Вундерлихом замыкала процессию и уже готовилась переступить порог столовой.

– Pardon, милый господин пастор... На два слова, мама.

Пастор благодушно кивнул, и консул Будденброк увлек старую даму обратно к окну ландшафтной.

– Я ненадолго задержу вас, мама, – торопливым шепотом произнес он, отвечая на вопрошительный взгляд ее темных глаз. – Письмо от Готхольда. – Он извлек из кармана сложенный вдвое конверт, запечатанный сургучной печатью. – Это его почерк... Уже третье послание, а папа ответил только на первое. Как быть? Его принесли в два часа, и я давно должен был вручить его отцу. Но неужели именно мне надо было испортить ему праздник? Что вы скажете? Я могу сейчас пойти и вызвать отца.

– Нет, ты прав, Жан! Лучше повременить, – отвечала мадам Будденброк и быстрым привычным движением дотронулась до плеча сына. – И о чем только он может писать? – огорченно добавила она. – Все стоит на своем, упрямец, и требует возмещения за дом... Нет, нет, Жан, только не сейчас... Может быть, позднее вечером, когда все разойдется...

– Что делать? – повторил консул и уныло покачал головой. – Я сам не раз готов был просить отца пойти на уступки... Нехорошо, чтобы люди думали, будто я, единокровный брат, вошел в доверие к родителям и интригую против Готхольда... Да я не хочу, чтобы и отец хоть на минуту заподозрил меня в неблаговидном поступке... Но, по чести, я все-таки совладелец, не говоря уж о том, что мы с Бетси в настоящее время вносим положенную плату за третий этаж... Что касается сестры во Франкфурте, то здесь все в полном порядке. Ее муж уже сейчас, при жизни папа, получил отступные – четверть покупной стоимости дома... Это выгодное дело, и папа очень умно и тактично уладил его – не только в наших интересах, но и в интересах фирмы. И если он так непреклонен в отношении Готхольда, то...

– Ну, это, Жан, пустое. Твоя точка зрения на это дело ясна каждому. Беда в том, что Готхольд полагает, будто я, как мачеха, забочусь только о собственных детях и всячески стараюсь отдалить от него отца.

– Но он сам виноват! – воскликнул консул довольно громко и тут же, оглянувшись на дверь, понизил голос: – Он, и только он, виноват во всей этой прискорбной истории. Судите сами! Почему он не мог вести себя разумно? Зачем ему понадобилось жениться на этой мадемуазель Штювинг с ее... лавкой? – Выговорив последнее слово, консул досадливо и не без смущения рассмеялся. – Конечно, нетерпимость отца в отношении этой злополучной лавки – чудачество, но Готхольду следовало бы уважить маленькую слабость старого человека.

– Ах, Жан, самое лучшее, если бы папа уступил.

– Но разве я вправе ему это советовать? – прошептал консул, взволнованно потирая лоб. – Я заинтересованное лицо и потому должен был бы сказать: папа, заплати ему. Но, с другой стороны, я компаньон, обязанный блюсти интересы фирмы; и если отец не желает, идя навстречу требованиям непокорного, взбунтовавшегося сына, изымать из оборотного капитала такую сумму... ведь речь идет об одиннадцати тысячах талеров, а это немалые деньги... Нет, нет! Я не могу ему это советовать, но не могу и отговаривать его. Я ничего знать не желаю об этом деле. Мне неприятно только предстоящее объяснение с отцом.

– Вечером, Жан! Только вечером! Идем, нас ждут...

Консул поглубже засунул письмо в карман, предложил руку матери, и они вдвоем пошли в ярко освещенную столовую, где общество только что кончило рассаживаться по местам за длинным обеденным столом.

Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер почти рельефно выступали между стройных колонн. Тяжелые красные занавеси на окнах были плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких золоченых канделябрах горело по восемь свечей, не считая тех, что были расставлены на столе в серебряных подсвечниках. Над громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную, висела большая картина – какой-то итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. Вдоль стен стояли большие диваны с прямыми спинками, обитые красным дамаском.

Лицо мадам Будденброк не хранило ни малейших следов тревоги или огорчения, когда она опустилась на свое место между стариком Крегером и пастором Вундерлихом.

– *Bon appétit!*¹³ – произнесла она, торопливо и ласково кивнув головой, и быстрым взглядом окинула весь стол, вплоть до нижнего его конца, где разместились дети.

¹³ Приятного аппетита! (*фр.*)

Глава четвертая

– Ну-с, доложу я вам, есть с чем поздравить Будденброка! – Мощный голос г-на Кеппена перекрыл гул застольной беседы как раз в минуту, когда горничная с обнаженными красными руками, в домотканой полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке, при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной «сверху» – то есть из апартаментов консульши – подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами, и кое-кто уже неторопливо приступил к еде. – Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да-с, доложу я вам, здесь жить можно!..

Господин Кеппен не был принят у прежних владельцев: он недавно разбогател, родом был отнюдь не из патрицианской семьи и, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными «доложу я вам» и так далее. К тому же он говорил не «поздравляю», а «проздравляю».

– По цене и товар, – сухо вставил г-н Гретъенс, бывший маклером при покупке этого дома, и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив.

Гостей – родственников и друзей дома – рассадили по мере возможности вперемежку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось, и старики Эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегер, прямой и высокий, восседаая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами.

– Когда, собственно, был построен этот дом? – обратился через стол г-н Гофштеде к старому Будденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кеппен.

– Анно...¹⁴ погоди-ка... анно... тысяча шестьсот восьмидесятом, если не ошибаюсь. Впрочем, мой сын лучше меня это знает...

– В восемьдесят втором, – подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже; он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс. – Постройку закончили зимой восемьдесят второго года. «Ратенкамп и компания» тогда быстро шли в гору... Тяжело думать об упадке, в котором вот уже двадцать лет находится эта фирма...

Разговор замолк, и с полминуты за столом царил тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе, некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обеднев и опустившись, должны были его покинуть...

– Еще бы не тяжело, – произнес наконец маклер Гретъенс, – когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка... О, если бы не этот Геельмак, которого Дитрих Ратенкамп взял тогда себе в компаньоны! Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. Мне-то, господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Ратенкампа, как раздавал направо и налево векселя и акцепты фирмы... Ну и доигрался! Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечений... Вы себе и представить не можете... А кто склады контролировал? Геельмак? О нет, он и его присные годами хозяйничали там, как крысы! А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы...

– На Ратенкампа нашла какая-то одурь, – сказал консул; его лицо приняло мрачное замкнутое выражение; склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. – Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного. Что заставило его связаться с этим Геельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь

¹⁴ В году... (лат.)

хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование, старый род пришел в упадок. Вильгельм Геельмак явился только последним толчком к гибели...

– Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул, – сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, – что все происшедшее совершилось бы и без этого Геельмака и его диких поступков?

– Ну, не совсем так, – отвечал консул, ни к кому в отдельности не обращаясь, – но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампа с Геельмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока... Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости... Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно окаменел...

– Ну, assez¹⁵, Жан! – сказал старый Будденброк и положил ложку. – Это одна из твоих idées¹⁶.

Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца. Но тут заговорил Лебрехт Креггер:

– Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему.

С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку.

– «К.Ф. Кеппен», – прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцу. – Ах, что бы мы были без вас!

Горничные стали сменять мейссенские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней.

Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал:

– А ведь настоящее могло быть и не столь радостным. Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Будденброков... Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь, – он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте, – я невольно спрашиваю себя, не ее ли в тысяча восемьсот шестом году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона, и вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфштрассе...

Мадам Будденброк смотрела прямо перед собой с улыбкой, немного застенчивой и мечтательно обращенной в прошлое. Том и Тони на нижнем конце стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к разговору взрослых, почти одновременно закричали:

– Расскажите, расскажите, бабушка!

Но пастор, по опыту зная, что она неохотно распространяется об этом случае, для нее несколько конфузном, уже сам начал рассказ об одном давнем происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку.

– Итак, представьте себе ноябрьский день; на дворе стужа и дождь льет как из ведра; я ходил по делам своего прихода и вот возвращаюсь по Альфштрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер ретировался, город наш занят французами, но волнение, всех обуявшее, почти не чувствуется. Улицы тихи, люди предпочитают отсиживаться по домам. Мясник Праль, который, по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул: «Да что же это делается? Бог

¹⁵ Довольно (фр.).

¹⁶ Здесь – навязчивая идея (фр.).

знает, что за безобразие!» – получил пулю в голову, и конец... Так вот иду я и думаю: надо бы заглянуть к Будденброкам; мое появление может оказаться весьма кстати: муж лежит больной – рожа на голове, а у мадам с постоянными хлопот не обернуться.

И в эту самую минуту, как бы вы думали, кто попадается мне навстречу? Наша уважаемая мадам Будденброк! Но в каком виде! Дождь, а она идет – вернее, бежит – без шляпы, шаль едва держится на плечах, а куафюра у нее так растрепана... – увы, это правда, мадам! – что вряд ли здесь даже было применимо слово «куафюра».

«О, сколь приятный сюрприз, – говорю я и беру на себя смелость удержать за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается недобрым предчувствием. – Куда вы так спешите, любезнейшая?» Тут она меня узнает и кричит: «Ах, это вы... Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в Траву». – «Боже вас упаси! – говорю я и чувствую, что кровь отливает у меня от лица. – Это место совсем для вас неподходящее. Но что случилось?» И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к мадам Будденброк. «Что случилось? – повторяет она, дрожа всем телом. – Они залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось! А у Жана рожа на голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои серебряные ложки! Вот что случилось, Вундерлих! И я сейчас утоплюсь в Траве». Ну что ж, я держу нашу дорогую мадам Будденброк и говорю все, что говорят в таких случаях. Говорю: «Мужайтесь, дитя мое! Все обойдется!» И еще: «Мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки, заклиная вас! Идемте скорее!» И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту же картину, от которой бежала мадам: солдаты – человек двадцать – роются в ларе с серебром. «С кем из вас, милостивые государи, мне позволено будет вступить в переговоры?» – учтиво обращаюсь я к ним. В ответ раздается хохот: «Да со всеми, папаша!» Но тут один выходит вперед и представляется мне – длинный, как жердь, с нафабранными усами и красными ручищами, которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. «Ленуар, – говорит он и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины ложек, – Ленуар, сержант. Чем могу служить?» – «Господин офицер! – говорю я, вызывая к его *point d'honneur*¹⁷. – Неужели подобное занятие совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся императору». – «Что вы хотите, – отвечает он, – война есть война! Моим людям пришлось по душе эта утварь...» – «Вам следует принять во внимание, – перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль, – что дама, – говорю я, ибо чего не скажешь в таком положении, – не немка, а скорее ваша соотечественница, француженка...» – «Француженка?» – переспрашивает он. И что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый рубака? «Так, значит, эмигрантка? – добавил он. – Но в таком случае она враг философии». Я чуть не прыснул, но овладел собою. «Вы, как я вижу, человек ученый, – говорю я. – Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало». Он молчит, потом внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларь и кричит: «С чего вы взяли, что я не просто люблюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не скажешь! И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на память...»

Ну, надо сказать, что они немало взяли себе на память, тут уж не помогли никакие призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости. Они не ведали иного бога, кроме этого ужасного маленького человека...

¹⁷ Чувству чести (фр.).

Глава пятая

– Вы видели его, господин пастор?

Прислуга опять меняет тарелки. Подается гигантский кирпично-красный копченый окорок, горячий, запеченный в сухарях, а к нему кисловатая тушеная капуста и такая пропасть других овощей, что, кажется, все сидящие за столом могли бы насытиться ими. Резать ветчину вызвался Лебрехт Крегер. Изящно приподняв локти и сильно нажимая вытянутыми пальцами на нож и вилку, он бережно отделял сочные куски от окорока. В это время внесли еще и «русский горшок», гордость консулыши Будденброк, – острую и слегка отдающую спиртом смесь из различных фруктов.

Нет, пастору Вундерлиху, к сожалению, не пришлось лицезреть Бонапарта.

Но зато старый Будденброк и Жан-Жак Гофштеде видели его своими глазами: первый – в Париже, как раз перед русской кампанией, на параде, устроенном перед дворцом Тюильри; второй – в Данциге...

– Да, по правде говоря, вид у него был довольно неприветливый, – сказал поэт, высоко подняв брови и отправляя в рот кусок ветчины, брюссельскую капусту и картофель, которые ему удалось одновременно насадить на вилку... – Хотя все уверяли, что в Данциге... Рассказывали даже такой анекдот. Весь день он расправлялся с немцами, притом достаточно круто, а вечером сел играть в карты со своими генералами. «N'est-ce pas, Rapp, – сказал он, захватив со стола полную пригоршню золотых, – les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoléons?» – «Oui, sire, plus que le Grand!»¹⁸ – отвечал Рапп.

Среди всеобщего веселья, довольно шумного, ибо Гофштеде премило рассказал свой анекдот и даже легким намеком воспроизвел мимику императора, – старый Будденброк вдруг заявил:

– Ну, а, кроме шуток, разве величие его натуры не заслуживает восхищения?... Что за человек!..

Консул с серьезным видом покачал головой:

– Нет, нет, наше поколение уже не понимает, почему надо преклоняться перед человеком, который умертвил герцога Энгийенского и отдал приказ уничтожить восемьсот пленных в Египте...

– Все это, может быть, и не совсем так, а может быть, сильно преувеличено, – вставил пастор Вундерлих. – Не исключено, что этот герцог и вправду был мятежным вертопрахом, а что касается пленных, то такая экзекуция, вероятно, была произведена в соответствии с решением военного совета, обусловленным необходимостью и хорошо продуманным.

И он принялся рассказывать о книге, которую ему довелось читать; написанная секретарем императора, она лишь недавно увидела свет и заслуживала всяческого внимания.

– Тем не менее, – настаивал консул и потянулся снять нагар со свечи, которая вдруг начала мигать, – для меня непостижимо, решительно непостижимо восхищение этим чудовищем! Как христианин, как человек религиозный, я не нахожу в своем сердце места для такого чувства.

На лице консула появилось задумчивое, мечтательное выражение, он даже слегка склонил голову набок, тогда как его отец и пастор Вундерлих, казалось, чуть-чуть улыбнулись друг другу.

– Что там ни говори, а те маленькие наполеончики неплохая штука, а? Мой сын положительно влюблен в Луи-Филиппа, – добавил он.

¹⁸ «Не правда ли, Рапп? Немцы очень любят маленьких наполеонов?» – «Да, ваше величество, больше, чем Вликого!» (фр.)

– Влюблен? – с легкой иронией переспросил Жан-Жак Гофштеде. – Забавное словосочетание: Филипп Эгалитэ и... влюблен!

– Ну, а я считаю, что нам, право же, есть чему поучиться у Июльской монархии. – Консул произнес это серьезно и горячо. – Дружелюбное и благожелательное отношение французского конституционализма к новейшим практическим идеалам и интересам нашего времени – это нечто весьма обнадеживающее.

– Н-да, практические идеалы... – Старый Будденброк, решив дать небольшую передышку своим челюстям, вертел теперь в пальцах золотую табакерку. – Практические идеалы!.. Ну, я до них не охотник. – С досады он заговорил по-нижненемецки. – Ремесленные, технические, коммерческие училища растут как грибы после дождя, а гимназии и классическое образование объявлены просто ерундой. У всех только и на уме что рудники, промышленные предприятия, большие барыши... Хорошо, ох, как хорошо! Но, с другой стороны, немножко и глуповато, если подумать... что? А впрочем, я и сам не знаю, почему Июльская монархия мне не по сердцу... Да я ничего такого и не сказал, Жан... Может, это и очень хорошо... не знаю...

Однако сенатор Лангхальс, равно как Гретъенс и Кеппен, держал сторону консула... Францию можно только поздравить с таким правительством, и стремление немцев установить такие же порядки нельзя не приветствовать... Г-н Кеппен опять выговорил «проздравить». За едой он стал еще краснее и громко сопел. Только лицо пастора Вундерлиха оставалось все таким же бледным, благородным и одухотворенным, хотя он с неизменным удовольствием наливал себе бокал за бокалом.

Свечи медленно догорали и время от времени, когда струя воздуха клонила вбок их огоньки, распространяли над длинным столом чуть слышный запах воска.

Гости и хозяйева сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, ели тяжелыми серебряными вилками тяжелые, добротные кушанья, запивали их густым, добрым вином и не спеша перебрасывались словами. Вскоре беседа коснулась торговли, и все мало-помалу перешли на местный диалект; в его тяжелых, смачных оборотах было больше краткой деловитости, нарочитой небрежности, а временами и благодушной насмешки над собою. «Биржа» в этом произношении звучала почти как «баржа», и лица собеседников при этих звуках принимали довольное выражение.

Дамы недолго прислушивались к разговору. Вниманием их овладела мадам Крегер, подробно и очень аппетитно повествовавшая о наилучшем способе тушить карпа в красном вине:

– Когда рыба разрезана на куски, моя милая, пересыпьте ее луком, гвоздикой, сухарями и сложите в кастрюльку, тогда уже добавьте ложку масла, щепоточку сахара и ставьте на огонь... Но только не мыть, сударыня! Боже упаси, ни в коем случае не мыть; важно, чтобы не вытекла кровь...

Старик Крегер отменно шутил, в то время как консул Юстэс, его сын, сидевший рядом с доктором Грабовым, ближе к детскому концу стола, занимался поддразниванием мамзель Юнгман; она щурила карие глаза и, держа, по свойственной ей странной привычке, нож и вилку вертикально, слегка раскачивалась из стороны в сторону. Даже Эвердики оживились и разговаривали очень громко. Старая консулыша придумала новое нежное прозвание для своего супруга. «Ах, ты мой барашек!» – восклицала она, и чепец на ее голове трясся от наплыва чувств.

Разговор стал общим: Жан-Жак Гофштеде затронул свою излюбленную тему – путешествие в Италию, куда пятнадцать лет назад ему довелось сопровождать одного богатого гамбургского родственника. Он рассказывал о Венеции, о Риме и Везувии, о вилле Боргезе, где Гете написал несколько сцен своего «Фауста», восхищался фонтанами времен Возрождения, щедро дарующими прохладу, аллеями подстриженных деревьев, в тени которых так сладостно

бродить... И тут кто-то вдруг упомянул о большом запущенном саде Будденброков, начинавшемся сразу за Городскими воротами.

– Честное слово, – отозвался старик Будденброк, – меня и сейчас еще досада берет, что я в свое время не удосужился придать ему несколько более благообразный вид! Недавно я там был; стыд, да и только – какой-то девственный лес! А какой был бы прелестный уголок, если бы посеять газоны, красиво подстричь деревья...

Но консул решительно запротестовал:

– Помилуйте, папа! Я с таким наслаждением гуляю летом в этих зарослях, и мне страшно даже подумать, что эту вольную прекрасную природу обкромсают садовые ножницы.

– Но если эта вольная природа принадлежит мне, то разве я, черт побери, не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению?..

– Ах, отец, когда я отдыхаю там под разросшимися кустами, в высокой траве, мне, право, кажется, что я принадлежу природе, а не то, что у меня есть какие-то права на нее...

– Кришан, не объедаться, – внезапно крикнул старый Будденброк. – Тильде – той ничего не сделается, уписывает за четверых, эдакая обжора-девчонка.

И правда, тихая худенькая девочка с длинным старческим личиком творила настоящие чудеса. На вопрос, не хочет ли она вторую тарелку супу, Тильда протяжно и смиренно отвечала: «Да-а, по-о-жалуйста!» Рыбу, а также ветчину она дважды брала с блюда, нацеливаясь на самые большие куски, и заодно горой накладывала себе овощей; деловито склонившись над тарелкой и не сводя с нее близоруких глаз, она все пожирала неторопливо, молча, огромными кусками. В ответ на слова старика она только протянула дружелюбно и удивленно: «О Го-о-споди, дядюшка!» Она не оробела и продолжала есть, с инстинктивным, неутолимым аппетитом бедной родственницы за богатым столом, хоть и знала, что это не принято и что над нею смеются; улыбалась безразличной улыбкой и снова и снова накладывала себе на тарелку, терпеливая, упорная, голодная и худосочная.

Глава шестая

Но вот на двух больших хрустальных блюдах внесли плеттен-пудинг – мудреное многослойное изделие из миндаля, малины, бисквитного теста и заварного крема; в тот же миг на нижнем конце стола вспыхнуло пламя: детям подали их любимый десерт – пылающий плумпудинг.

– Томас, сынок, сделай одолжение, – сказал Иоганн Будденброк, вытаскивая из кармана панталон увесистую связку ключей: – во втором погребе, на второй полке, за красным бордо... понял?

Томас, охотно выполнявший подобные поручения, выбежал из-за стола и вскоре воротился с бутылками, запыленными и покрытыми паутиной. Но едва только из этой невзрачной оболочки полилась в маленькие бокальчики золотисто-желтая сладкая мальвазия, пастор Вундерлих встал и, подняв бокал, начал в мгновенно наступившей тишине провозглашать тост. Он говорил, изящно жестикулируя свободной рукой и слегка склонив голову набок, – причем на его бледном лице играла тонкая и чуть насмешливая улыбка, – говорил тем непринужденным, дружеским тоном, которого он любил держаться даже в проповедях:

– Итак, добрые друзья мои, да будет нам позволено осушить бокал этой превосходной влаги за благоденствие наших досточтимых хозяев в их новом, столь великолепном доме! За благоденствие семьи Будденброков и всех ее членов, как сидящих за этим столом, так и отсутствующих! Vivat!

«Отсутствующих? – думал консул, склоняя голову перед поднятыми в честь его семьи бокалами. – Кого он имеет в виду? Только ли франкфуртскую родню да еще, пожалуй, Дюшанов в Гамбурге? Или у старого Вундерлиха иное на уме?» Он встал, чтобы чокнуться с отцом, и с любовью посмотрел ему прямо в глаза.

Но тут поднялся со своего стула маклер Гретъенс; на речь ему потребовалось немало времени, а когда она была наконец произнесена, он поднял бокал за фирму «Иоганн Будденброк», за ее дальнейший рост и процветание во славу родного города.

Тут Иоганн Будденброк, как глава семьи и старший представитель торгового дома, принес гостям благодарность на добром слове и послал Томаса за третьей бутылкой мальвазии, ибо расчет, что и двух будет достаточно, на сей раз не оправдался.

Лебрехт Крегер тоже провозгласил тост; он позволил себе вольность, оставшись сидеть: ему казалось, что легкое покачивание головой и изящные движения рук должны были с места произвести еще более грациозное впечатление. Свою речь он посвятил обоим хозяйкам дома – мадам Антуанетте и консульше.

Но едва он кончил – к этому времени плеттен-пудинг был почти уже съеден, а мальвазия выпита, – как со стула, откашливаясь, поднялся Жан-Жак Гофштеде. У присутствующих вырвалось единодушное «ах!». А дети на нижнем конце стола от радости захлопали в ладоши.

– Да, excusez!¹⁹ Я не мог себе отказать... – начал поэт, одной рукой слегка потерев свой длинный нос, а другой вытаскивая лист бумаги из кармана.

В зале воцарилась благоговейная тишина. Бумага в его руках была премило и очень пестро разукрашена, а с наружной стороны листа в овале, обрамленном красными цветами и множеством золотых завитушек, было начертано: «По случаю радостного праздника новоселья в новоприобретенном доме Будденброков и в благодарность за ими присланное мне дружеское приглашение. Октябрь 1835 года».

Он развернул лист и начал своим уже чуть-чуть дрожащим старческим голосом:

¹⁹ Простите! (*фр.*)

Многочтимые! Под сводом
Этих царственных палат
Пусть восторженною одой
Песни дружбы прозвучат!

Среброкудрому я другу
Посвящаю песнь мою,
Двух малюток и супругу
В звучной песне воспою.

Нежность дружбы безобманно
Говорит мне, что слита
С трудолюбием Вулкана
Здесь Венеры красота.

Пусть же Время годы косит,
Не печальтесь вы о том, —
Каждый день пускай приносит
Радость новую в ваш дом!

Пусть уносит счастье-птица
Вас в потоке ясных дней
И прекрасный век ваш длится
Вместе с дружбою моей!

Пусть бы дружбой и любовью
Светлый дом всегда встречал
И того, кто сердца кровью
Эти строки написал!²⁰

Гофштеде отвесил низкий поклон, и все общество дружно зааплодировало.

– Charmant, Гофштеде! – воскликнул старый Будденброк. – Твое здоровье! Нет, это прелестно!

Когда же консулыша подняла свой бокал, чтобы чокнуться с Гофштеде, ее нежные щеки слегка заалели, – она поняла, на кого столь изящно намекал поэт, говоря о красоте Венеры.

²⁰ Все стихи в тексте переведены А. Глобой.

Глава седьмая

Всеобщее оживление дошло уже до предела, и г-н Кеппен ощутил неодолимую потребность расстегнуть несколько пуговиц на жилете; но, к сожалению, об этом нечего было и мечтать, – ведь даже люди постарше его не позволяли себе такой вольности. Лебрехт Крегер сидел все так же прямо, как и в начале обеда; у пастора Вундерлиха было все такое же бледное и одухотворенное лицо; старый Будденброк хоть и откинулся на спинку стула, но оставался воплощенной благопристойностью; и только Юстус Крегер был явно под хмельком.

Но куда исчез доктор Грабов? Консулыша поднялась и незаметно вышла из столовой, ибо на нижнем конце стола пустовали стулья мамзель Юнгман, доктора Грабова и Христиана, а из ротонды доносился звук, похожий на подавляемое рыдание. Она проскользнула в дверь за спиной горничной, появившейся в эту минуту с маслом, сыром и фруктами. И правда, в полутьме, на мягкой скамейке, кольцом окружавшей среднюю колонну, не то сидел, не то лежал, вернее же – корчился, маленький Христиан, испуская тихие жалобные стоны.

– Ах Боже мой, сударыня! – воскликнула Ида Юнгман, которая вместе с доктором стояла подле него. – Бедному мальчику очень плохо!

– Мне больно, мама! Мне черт знает как больно, – простонал Христиан, и его круглые, глубоко посаженные глаза над слишком большим носом беспокойно забегали. «Черт знает!» – вырвалось у него от отчаяния, но консулыша не преминула заметить:

– Того, кто говорит такие слова, Господь наказывает еще большей болью.

Доктор Грабов щупал пульс мальчика, и его доброе лицо при этом казалось еще длиннее и мягче.

– Небольшое несварение, ничего серьезного, госпожа консулыша, – успокоительно произнес он и затем добавил неторопливым «докторским» голосом: – Самое лучшее – немедленно уложить его в постель. Немного гуфландова порошка и, пожалуй, чашечку ромашки, чтобы вызвать испарину... И, разумеется, строгая диета, госпожа консулыша, очень строгая: кусочек голубя, ломтик французской булки...

– Я не хочу голубя! – вне себя завопил Христиан. – Я никогда больше не буду есть! Ничего! Мне больно, мне черт знает как больно! – Недозволенное слово, казалось, сулило ему облегчение, с такой страстью он его выкрикнул.

Доктор Грабов усмехнулся снисходительно, почти скорбной усмешкой. О, он еще будет есть, еще как будет, этот молодой человек! И жить будет, как все живут. Как его предки, вся родня, знакомые, он будет сидеть в конторе торгового дома и четыре раза в день поглощать тяжелые, отменно приготовленные кушанья. А там... на все воля Божья! Он, Фридрих Грабов, не таков, чтобы вступать в борьбу с привычками всех этих почтенных, благосостоятельных и благожелательных купеческих семейств. Он придет, когда его позовут, и пропишет строгую диету на денек-другой; кусочек голубя, ломтик французской булки – да, да! – и с чистой совестью заверит пациента: «Пока ничего серьезного». Еще сравнительно молодой, он уже не раз держал в своей руке руку честного бюргера, в последний раз откушавшего копченой говядины или фаршированной индейки и нежданно-негаданно отошедшего в лучший мир, сидя в своем конторском кресле или после недолгой болезни дома, в своей широкой старинной кровати. Это называлось удар, паралич, скоропостижная смерть... Да, да, и он, Фридрих Грабов, мог бы предсказать им такой конец всякий раз, когда это было «так, пустячное недомогание», при котором доктора даже, быть может, не считали нужным беспокоить, или когда после обеда, вернувшись в контору, почтенный негоциант ощущал легкое, непривычное головокружение... На все воля Божья! Он, Фридрих Грабов, и сам не пренебрегал фаршированной индейкой. Сегодня этот окорок в сухарях был просто восхитителен, черт возьми! А потом, когда всем уже стало трудно дышать, плеттен-пудинг – миндаль, малина, сбитые белки – да, да!..

– Строгая диета, госпожа консулыша: кусочек голубя, ломтик французской булки...

Глава восьмая

В большой столовой гости шумно вставали из-за стола.

– На доброе здоровье, *mesdames et messieurs*, на доброе здоровье! В ландшафтной любительской покурить дожидаются сигары, а всех нас глоток кофе, и если мадам расщедрится, то и ликер... Бильярды к вашим услугам, господа! Жан, ты проводишь дорогих гостей в бильярдную... Мадам Кеппен, честь имею...

Все собравшиеся, сытые, довольные, болтая и обмениваясь впечатлениями об обеде, двинулись обратно в ландшафтную. В столовой остался только консул и несколько заядлых бильярдистов.

– А вы не сыграете с нами, отец?

Нет, Лебрехт Крегер предпочел остаться с дамами. Но вот Юстусу лучше пойти в бильярдную. Сенатор Лангхальс, Кеппен, Гретъенс и доктор Грабов тоже примкнули к нему. Жан-Жак Гофштеде обещал прийти попоздней:

– Приду, приду немного погодя! Иоганн Будденброк хочет сыграть нам на флейте, я должен его послушать. *Au revoir, messieurs...*²¹

До слуха шестерых мужчин, уже вышедших в ротонду, донеслись из ландшафтной первые звуки флейты; консулыша аккомпанировала свекру на фисгармонии, и легкая, грациозная, звонкая мелодия поплыла по обширным покоям будденбровского дома. Консул прислушивался к ней, пока еще можно было что-то услышать. Как охотно остался бы он в ландшафтной помечтать под эти звуки, успокоить свою встревоженную душу, если бы не обязанности хозяина дома!

– Подай в бильярдную кофе и сигары, – обратился он к горничной, встретившейся им на площадке.

– Да, Лина, живехонько! Гони-ка нам кофе, – повторил господин Кеппен голосом, идущим из самой глубины его сытой утробы, и сделал попытку ущипнуть красную руку девушки. Слово «кофе» прозвучало так гортанно, что казалось – он уже пьет и смакует вожаделенный напиток.

– Можно не сомневаться, что мадам Кеппен все видела через стеклянную дверь, – заметил консул Крегер.

А сенатор Лангхальс спросил:

– Так ты, значит, поселился наверху, Будденброк?

Лестница справа вела на третий этаж, где помещались спальни консула и его семейства. Но налево от площадки тоже находилась целая анфилада комнат. Мужчины с сигарами в зубах стали спускаться по широкой лестнице с белыми резными перилами. На следующей площадке консул снова задержался.

– В антресолях имеются еще три комнаты, – пояснил он, – маленькая столовая, спальня моих родителей и комната без определенного назначения, выходящая в сад; узенькая галерея здесь выполняет роль коридора... Но пойдемте дальше! Вот, смотрите, в эти сени въезжают нагруженные подводы и потом через двор попадают прямо на Беккергрубе.

Огромные гулкие сени были выстланы большими четырехугольными плитами. У входных дверей, а также напротив, в глубине располагались конторские помещения. Кухня, откуда еще и сейчас доносился кисловатый запах тушеной капусты, и проход к погребам находились по левую руку от лестницы. По правую же, на довольно большой высоте, шли какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки – помещения для прислуги. Попасть

²¹ До скорой встречи, господа... (*фр.*)

в них можно было только по крутой наружной лестнице. Рядом с этой лестницей стояли два громадных старинных шкафа и резной ларь.

Через высокую застекленную дверь, по ступенькам, настолько плоским, что с них могли съезжать подводы, мужчины вышли во двор, в левом углу которого находилась прачечная. Отсюда открывался вид на красиво разбитый, но теперь по-осеннему мокрый и серый сад, с клумбами, прикрытыми от мороза рогожами; вид этот замыкала беседка с порталом в стиле рококо. Но консул повел своих гостей налево во флигель, – через второй двор, по проходу между двумя стенами.

Скользкие ступеньки спускались в сводчатый подвал с земляным полом, служивший амбаром, с потолка которого свешивался канат для подъема мешков с зерном.

Они поднялись по опрятной лестнице во второй этаж, где консул распахнул перед гостями белую дверь в биллиардную.

Господин Кеппен в изнеможении плюхнулся на один из стульев с высокими спинками, стоявших вдоль стен большой, скупо обставленной комнаты.

– Дайте хоть дух перевести, – взмолился он, стряхивая мелкие дождевые капельки со своего сюртука. – Фу-ты, черт возьми, прогуляться по вашему дому – целое путешествие, Будденброк!

Здесь, так же как и в ландшафтной, за чугунной печной дверцей пылал огонь. Из трех высоких и узких окон виднелись красные, мокрые от дождя, островерхие крыши и серые дома.

– Итак, карамболь, господин сенатор? – спросил консул, доставая кий.

Затем он обошел оба биллиардных стола и закрыл лузы.

– Кто составит нам партию? Гретъенс? Или вы, доктор? All right²². Ну, тогда Гретъенс и Юстус будут играть вторыми? Кеппен, и ты не отлынивай.

Виноторговец поднялся с места и, раскрыв рот, полный сигарного дыма, прислушался к яростному порыву ветра, налетевшему на дом, дождем застучавшему по стеклам и отчаянно взывшему в печной трубе.

– Черт возьми! – проговорил он, выпуская дым. – Не знаю, как «Вулленвевер» войдет в гавань. А, Будденброк? Ну и собачья же погода!

– Да, вести из Травемюнде поступили весьма неутешительные, – подтвердил консул Крегер, намеливая кий. – Штормы вдоль всего берега. Ей-богу, в двадцать четвертом году, когда случилось наводнение в Санкт-Петербурге, погода была ничуть не хуже... А вот и кофе!

Они отхлебнули горячего кофе и начали игру. Но вскоре заговорили о таможенном союзе... О, консул Будденброк всегда ратовал за таможенный союз!

– Какая блестящая мысль, господа! – воскликнул он, сделав весьма удачный удар, и обернулся ко второму биллиарду, где только что было произнесено «таможенный союз». – Нам бы следовало вступить в него при первой возможности.

Господин Кеппен держался, однако, другого мнения. Нет, он даже засопел от возмущения.

– А наша самостоятельность, наша независимость? – обиженно спросил он, воинственно опершись на кий. – Все побоку? Посмотрим еще, как примет Гамбург эту прусскую выдумку! И зачем нам раньше времени туда соваться, а, Будденброк? Да Боже упаси! Нам-то что до этого таможенного союза, скажите на милость? Что, у нас дела так плохи?..

– Ну да, Кеппен, твое красное вино, и еще, пожалуй, русские продукты... не спору! Но больше мы ничего не импортируем! Что же касается экспорта, то, конечно, мы отправляем небольшие партии зерна в Голландию, в Англию, и только... Ах, нет, дела, к сожалению, вовсе не так хороши... Видит Бог, они в свое время шли куда лучше... А при наличии таможенного

²² Отлично (англ.).

союза для нас откроются Мекленбург и Шлезвиг-Голштиния... Очень может быть, что торговля на свой страх и риск...

– Но позвольте, Будденброк, – перебил его Гретъенс; он всем телом налег на бильярд и медленно целился в шар, раскачивая кий в своей костлявой руке, – этот таможенный союз... Я ничего не понимаю! Ведь наша система так проста и практична. Что? Очистка от пошлин под присягой...

– ...прекрасная старинная институция. – С этим консул не мог не согласиться.

– Помилуйте, господин консул, с чего вы находите ее прекрасной? – Сенатор Лангхальс даже рассердился. – Я не купец, но, говоря откровенно, – присяга вздор. Нечего на это закрывать глаза! Она давно превратилась в пустую формальность, которую не так-то трудно обойти. А государство смотрит на это сквозь пальцы. Чего-чего только мы об этом не слышали. Я убежден, что вхождение в таможенный союз сенатом будет...

– Ну, тогда не миновать конфликта! – Г-н Кеппен в сердцах стукнул своим кием об пол. Он выговорил «конфликт», окончательно отбросив заботу о правильном произношении. – Будет конфликт, как пить дать! Нет уж, покорнейше благодарим, господин сенатор! Это дело такое, что Боже избави! – И он начал все с тем же пылом распространяться об арбитражных комиссиях, о благе государства, о вольных городах и присяге.

Хорошо, что в эту минуту появился Жан-Жак Гофштеде! Он вошел рука об руку с пастором Вундерлихом – простодушные, жизнерадостные старики, воплощение иных, беззаботных времен.

– Ну-с, друзья мои, – начал поэт, – у меня есть кое-что для вас... веселая шутка, стишок на французский манер. Слушайте!

Он уселся поудобнее, напротив игроков, которые, опершись на свои кии, стояли возле бильярдных, вытащил листок бумаги из кармана, потеревил свой острый нос указательным пальцем с кольцом-печаткой и прочитал веселым, наивно-эпическим тоном:

Саксонский маршал, будь ему судьей Амур,
В карете золотой катался с Помпадур.
При виде их сказал Фрелон, шутник безбожный:
«Вот королевский меч, а вот к нему и ножны».

Господин Кеппен замер, но мгновение спустя, позабыв про «конфликт» и благо государства, присоединился к общему хохоту, повторенному сводами зала. Пастор Вундерлих отошел к окну и, судя по подергиванию его плеч, тоже от души смеялся.

Они еще довольно долго пробыли в отдаленной бильярдной, ибо у Гофштеде оказалась в запасе не одна такая шутка. Г-н Кеппен расстегнул уже все пуговицы своего жилета и пребывал в наилучшем настроении, – здесь он чувствовал себя куда привольнее, чем в большой столовой. Каждый удар по шару он сопровождал веселыми прибаутками на нижненемецком диалекте и время от времени, так и светясь довольством, повторял:

Саксонский маршал...

Произнесенный его густым басом, этот стишок звучал еще забавнее.

Глава девятая

Было уже довольно поздно, около одиннадцати, когда гости, вновь воссоединившиеся в ландшафтной, стали прощаться. Консульша, после того как все кавалеры поочередно приложились к ее руке, поднялась вверх в свои апартаменты, спеша узнать, как чувствует себя Христиан; надзор за горничными, убравшими посуду, перешел к мамзель Юнгман, а мадам Антуанетта удалилась к себе в антресоли. Консул же пошел вниз с гостями, провожая их до самого выхода.

Резкий ветер нагонял косой дождь, и старики Крегеры, закутанные в тяжелые меховые шубы, поспешили усестись в величественный экипаж, уже давно их дожидавшийся. Беспокойно мигали желтоватым светом масляные фонари, висевшие на протянутых через улицу толстых цепях, укрепленных на кронштейнах возле подъезда. На другой стороне улицы, круто спускающейся к реке, то там, то здесь из темноты выступали дома с нависавшими друг над другом этажами, с решетками и скамейками для сторожей. Между булыжников старой мостовой кое-где пробивалась мокрая трава. Свет фонарей не достигал Мариенкирхе, и она стояла окутанная дождем и мраком.

– Мерси, – сказал Лебрехт Крегер, пожимая руку консулу, стоявшему возле экипажа, – мерси, Жан. Вечер был просто очарователен! – Дверцы с треском захлопнулись, и лошади тронули.

Пастор Вундерлих и маклер Гретъенс, в свою очередь, изъявив благодарность хозяину, отправились восвояси. Г-н Кеппен, в шинели с пышнейшей пелериной и в высоченном сером цилиндре, взял под руку свою дорожную супругу и произнес густым басом:

– Покойной ночи, Будденброк!.. Иди-ка уж, иди, а то простынешь! Благодарствуй, благодарствуй! Давно так вкусно не едал... Так, значит, красное мое по четыре марки тебе по вкусу, а? Покойной ночи!..

Чета Кеппенов вместе с консулом Крегером и его семейством направилась вниз к реке, тогда как сенатор Лангхальс, доктор Грабов и Жан-Жак Гофштеде двинулись в обратную сторону.

Консул Будденброк, несмотря на то что холод уже начал пробирать его сквозь тонкое сукно сюртука, постоял еще немного у двери, засунув руки в карманы светлых брюк, и только когда шаги гостей замолкли на безлюдной, мокрой и тускло освещенной улице, обернулся и посмотрел на серый фасад своего нового дома. Взгляд его задержался на высеченной в камне старинной надписи: «Dominus providebit»²³. Потом он, чуть наклонив голову, заботливо запер за собой тяжело хлопнувшую наружную дверь, закрыл на замок внутреннюю и неторопливо зашагал по гулким плитам нижних сеней. Кухарка с полным подносом тихонько звеневших бокалов сходила ему навстречу по лестнице.

– Где хозяин, Трина? – спросил он.

– В большой столовой, господин консул... – Лицо ее стало таким же красным, как и руки; она недавно приехала из деревни и смущалась от любого вопроса.

Он поднялся вверх, и, когда проходил через погруженную во мрак ротонду, рука его непроизвольно потянулась к нагрудному карману, где хрустнула бумага. В углу столовой в одном из канделябров мерцали огарки, освещая уже пустой стол. Кисловатый запах тушеной капусты еще стоял в воздухе.

Вдоль окон, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался взад и вперед Иоганн Будденброк.

²³ «Господь провидит» (лат.).

Глава десятая

– Ну, сын мой Иоганн, как себя чувствуешь? – Старик остановился и протянул консулу руку, белую, коротковатую и все же изящную руку Будденброков. Его моложавая фигура отделилась от темно-красного фона занавесей, в тусклом и беспокойном свете догорающих свечей блеснули только пудренный парик и кружевное жабо. – Не очень устал? Я вот хожу здесь да слушаю ветер... Дрянная погода! А капитан Клоот уже вышел из Риги...

– С Божьей помощью все обойдется, отец!

– А могу ли я положиться на Божью помощь! Правда, вы с Господом Богом приятели...

У консула отлегло от сердца, когда он увидел, что отец в наилучшем расположении духа.

– Я, откровенно говоря, собирался не только пожелать вам доброй ночи, папа... – начал он. – Но уговор, не сердитесь на меня. Вот письмо, оно пришло еще сегодня утром, да я не хотел расстраивать вас в такой радостный день...

– Мосье Готхольд, voilà²⁴! – Старик притворился, будто его нисколько не волнует голубоватый конверт с сургучной печатью, который протягивал ему сын. – «Господину Иоганну Будденброку sen²⁵. в собственные руки»... Благовоспитанный человек твой единокровный братец, Жан! Ничего не скажешь! Насколько мне помнится, я не ответил на его второе письмо, а он уже мне и третье шлет. – Розовое лицо старика становилось все более и более мрачным; он скосил ногтем печать, быстро развернул тонкий листок, поворотился так, чтобы свет падал на бумагу, и энергично расправил ее ладонью. Даже в самом почерке этого письма виделись измена и мятеж, – ибо если у всех Будденброков строчки, бисерные и легкие, косо ложились на бумагу, то здесь буквы были высокими, резкими, с внезапными нажимами; многие слова были торопливо и жирно подчеркнуты.

Консул отошел в сторону, к стене, где были расставлены стулья; он не сел – ведь его отец стоял, – но, нервным движением схватившись за спинку стула, стал наблюдать за стариком, который, склонив голову набок, насупил брови и, быстро-быстро шевеля губами, читал:

«Отец!

Я, надо думать, напрасно полагаю, что у вас достанет чувства справедливости понять, как я был возмущен, когда мое второе, столь настоящее письмо по поводу хорошо известного вам дела осталось без ответа; ответ (я умалчиваю о том, какого рода) последовал лишь на первое мое письмо. Не могу не сказать, что своим упорством вы только углубляете пропасть, по воле Божьей легшую между нами, и это грех, за который вы в свое время жестоко ответите перед престолом Всевышнего. Весьма прискорбно, что с того дня и часа, как я, пусть против вашей воли, последовав влечению сердца, сочетался браком с нынешней моей супругой и вступил во владение розничным торговым предприятием, тем самым нанеся удар вашей непомерной гордыне, – вы так жестоко и окончательно от меня отвернулись. Но то, как вы теперь обходитесь со мной, уже вопиет к небесам; и ежели вы решили, что вашего молчания достаточно, чтобы заставить и меня замолчать, то вы *жесточайшим образом* ошибаетесь. Стоимость вашего благоприобретенного дома на Менгштрассе равна ста тысячам марок; как мне стало известно, с вами на правах жильца проживает ваш сын от второго брака и компаньон *Иоганн*, который после вашей смерти станет единоличным хозяином не только фирмы, но и дома. С моей единокровной сестрой

²⁴ Вот (фр.).

²⁵ То есть senior – старший (лат.).

во Франкфурте и ее супругом вы выработали определенное соглашение, в которое я вмешиваться не собираюсь. Но мне, старшему сыну, вы, по злобе, недостойной христианина, наотрез отказываетесь уплатить какую бы то ни было компенсацию за неучастие во владении упомянутым домом. Я смолчал, когда при моем вступлении в брак и выделе вы уплатили мне сто тысяч марок и такую же сумму положили завещать мне. Я тогда даже толком не знал размеров вашего состояния. Теперь мне многое уяснилось, и поскольку у меня нет оснований считать себя лишенным наследства, то я и *предъявляю свои права* на тридцать три тысячи триста тридцать пять марок, то есть на треть покупной стоимости дома. Не стану высказывать предположений относительно того, чьему *низкому и коварному* влиянию обязан я вашим обхождением, которое до сих пор вынужден был терпеть; но я *протестую* против него с полным сознанием своей правоты *христианина и делового человека* и в последний раз заверяю вас, что если вы не решитесь удовлетворить мои справедливые притязания, то я больше не смогу уважать вас ни как *христианина*, ни как *отца*, ни, наконец, как *негоцианта*.

Готхольд Будденброк».

– Прости, пожалуйста, что мне приходится вторично вручать тебе эту мазню, – *voilà!* – И Иоганн Будденброк гневным движением перебрал письмо сыну.

Консул поймал бумагу, когда она затрепыхалась на уровне его колен, продолжая смятенным, печальным взором следить за тем, как отец ходит взад и вперед по комнате. Старик схватил длинную палку с гасильником на конце, которая стояла у окна, и быстрыми, сердитыми шажками засеменил в противоположный угол к канделябрам.

– «*Assez!* – говорят тебе. – *N'en parlons plus!*»²⁶ Точка! Спать пора! *En avant!*²⁷

Огоньки свечей один за другим исчезали, чтобы не вспыхнуть больше под металлическим колпачком гасильника. В столовой горели лишь только две свечи, когда старик опять обернулся к сыну, которого уже с трудом мог разглядеть в глубине комнаты.

– *En bien*²⁸, что ты стоишь и молчишь? Ты в конце концов обязан говорить!

– Что мне сказать, отец? Я в нерешительности...

– Ты часто бываешь в нерешительности! – гневно выкрикнул старик, сам зная, что это замечание несправедливо, ибо сын и компаньон не раз превосходил его решительностью действий, направленных к их обоюдной выгоде.

– «Низкое и коварное влияние», – продолжал консул. – Эту фразу нетрудно расшифровать... Вы не знаете, как это меня мучит, отец! И он еще попрекает вас нехристианским поведением!

– Так, значит, эта галиматья запугала тебя, да? – Иоганн Будденброк направился к сыну, сердито волоча за собой гасильник. – Нехристианское поведение! Гм! А по-моему, это благочестивое стяжательство просто смешно. Что вы за народ такой, молодежь, а? Голова набита христианскими и фантастическими бреднями и... идеализмом! Мы, старики, бездушные насмешники... А тут еще Июльская монархия и практические идеалы... Конечно, лучше писать старику отцу глупости и грубости, чем отказаться от нескольких тысяч талеров!.. А как деловой человек он, видите ли, презирает меня! Хорошо же! Но я как деловой человек знаю, что такое *faux frais!* *Faux frais!*²⁹ – повторил он, и по-парижски произнесенное «р» грозно пророкотало

²⁶ Не будем об этом говорить! (*фр.*)

²⁷ Пошли! (*фр.*)

²⁸ Итак (*фр.*).

²⁹ Непроизводительные расходы! (*фр.*)

в полутьме комнаты. – Этот экзальтированный негодяй, мой сынок, не станет мне преданнее оттого, что я смирюсь и уступлю...

– Дорогой отец, ну что мне сказать вам на это? Я не хочу, чтобы он оказался прав, говоря о «влиянии». Как участник в деле я являюсь лицом заинтересованным и именно поэтому не смею настаивать, чтобы вы изменили свое решение, ведь я не менее добрый христианин, чем Готхольд, хотя...

– Хотя?.. По моему разумению, тебе следовало бы продолжить это «хотя», Жан! Как, собственно, обстоит дело? Когда он воспылил страстью к этой своей мамзель Штювинг и стал устраивать мне сцену за сценой, а потом, вопреки моему решительному запрещению, все же совершил этот мезальянс, я написал ему: «*Mon très cher fils*³⁰, ты женишься на лавке, точка! Я тебя не лишаю наследства, так как не собираюсь устраивать *spectacle*, но дружбе нашей конец. Бери свои сто тысяч в качестве приданого, вторые сто тысяч я откажу тебе по завещанию – и баста! Ты выделен и больше ни на один шиллинг не рассчитывай». Тогда он смолчал. А теперь ему-то какое дело, что мы провели несколько удачных операций и что ты и твоя сестра получите куда больше денег, а из предназначенного вам капитала куплен дом?

– Если бы вы захотели понять, отец, перед какой дилеммой я стою! Из соображений нашего семейного блага мне следовало бы посоветовать вам уступить... Но...

Консул тихонько вздохнул, по-прежнему не выпуская из рук спинки стула. Иоганн Будденброк, опираясь на гасильник, пристально вглядывался в тревожный полумрак, стараясь уловить выражение лица сына. Предпоследняя свеча догорела и потухла; только один огарок еще мерцал в глубине комнаты. На шпалерах то там, то здесь выступала светлая фигура со спокойной улыбкой на устах и вновь исчезала.

– Отец, эти отношения с Готхольдом гнетут меня! – негромко сказал консул.

– Вздор, Жан! Сантименты! Что тебя гнетет?

– Отец, нам сегодня было так хорошо всем вместе, это был наш праздник, мы были горды и счастливы сознанием, что многое сделано нами, многое достигнуто. Благодаря нашим общим усилиям наша фирма, наша семья получили признание самых широких кругов, нас уважают... Но, отец, эта злобная вражда с братом, с вашим старшим сыном... Нельзя допустить, чтобы невидимая трещина расколола здание, с Божьей помощью воздвигнутое нами... В семье все должны стоять друг за друга, отец, иначе беда постучится в двери.

– Все это бредни, Жан, вздор! Упрямый мальчишка.

Наступило молчание; последний огонек горел все более тускло.

– Что ты делаешь, Жан? – спросил Иоганн Будденброк. – Я тебя больше не вижу.

– Считаю, – коротко отвечал консул. Свеча вспыхнула, и стало видно, как он, выпрямившись, внимательно и пристально, с выражением, в тот вечер ни разу еще не появлявшимся на его лице, смотрел на пляшущий огонек. – С одной стороны, вы даёте тридцать три тысячи триста тридцать пять марок Готхольду и пятнадцать тысяч сестре во Франкфурте, в сумме это составит сорок восемь тысяч триста тридцать пять марок. С другой – вы ограничиваетесь тем, что отсылаете двадцать пять тысяч во Франкфурт, и фирма таким образом выгадывает двадцать три тысячи триста тридцать пять. Но это еще не все. Предположим, что Готхольду выплачивается требуемое им возмещение. Это будет нарушением принципа, будет значить, что он был не окончательно выделен, – и тогда после вашей смерти он вправе претендовать на наследство, равное моему и моей сестры; иными словами: фирма должна будет поступиться сотнями тысяч, на что она пойти не может, на что не могу пойти я, в будущем ее единоличный владелец... Нет, папа, – заключил он, делая энергичный жест рукой и еще больше выпрямляясь, – я советую вам не уступать!

– Ну и отлично. Точка! Спать!

³⁰ Любезный сын (*фр.*).

Последний огонек задохся под металлическим колпачком. Отец и сын в полнейшей темноте вышли в ротонду и уже на лестнице пожали друг другу руки.

– Покойной ночи, Жан... Голову выше! А? Все эти неприятности... Встретимся утром, за завтраком!

Консул поднялся к себе наверх, старик ощупью, держась за перила, отправился на антресоли. И большой, крепко запертый дом погрузился во мрак и молчание. Гордыня, надежды и опасения отошли на покой, а за стенами на пустынных улицах лил дождь, и осенний ветер завывал над островерхими крышами.

Часть вторая

Глава первая

Два с половиною года спустя, в середине апреля, когда весна не по времени была уже в полном разгаре, свершилось одно событие, заставившее старого Иоганна Будденброка то и дело напевать от радости, а его сына растрогать до глубины души.

Воскресным утром, в девять часов, консул сидел у окна в маленькой столовой за громоздким коричневым секретером, выпуклая крышка которого благодаря хитроумному механизму была вдвинута внутрь. Перед ним лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами; но он, склонившись над золотообрезной тетрадь в тисненном переплете, усердно что-то вписывал в нее своим тонким, бисерным, торопливым почерком, отрываясь лишь затем, чтобы обмакнуть гусиное перо в массивную металлическую чернильницу.

Оба окна были раскрыты настежь, и из сада, где солнце ласково пригревало первые почки и какие-то две пичужки дерзко перекликались меж собою, веял свежий, чуть пряный весенний ветерок, временами мягко и неслышно шевеливший гардины. На белую скатерть с еще не сметенными хлебными крошками ложились ослепительные лучи солнца, и веселые зайчики суетливо прыгали на позолоте высоких чашек...

Ведущие в спальню двери стояли распахнутыми, и оттуда чуть слышно доносился голос Иоганна Будденброка, мурлыкавшего себе под нос смешную старинную песенку:

Он предостойный человек
С галантерейным глянцем.
Он варит суп, растит детей
И пахнет померанцем.

Он тихонько раскачивал колыбельку с зелеными шелковыми занавесочками, почти вплотную придвинутую к высокой кровати под пологом, на которой лежала консулыша. И она, и ее супруг, желая избежать излишней суеты, перебрались на время сюда, вниз, а отец и мадам Антуанетта, которая в фартуке поверх полосатого платья и в кружевном чепце на тугих, толстых буклях, сейчас хлопотала у стола, заваленного кусками полотна и фланели, устроили себе спальню в третьей комнате антресолей.

Консул Будденброк почти не оглядывался на раскрытые двери, до такой степени он был погружен в свое занятие. С его лица не сходило серьезное, почти страдальческое, но в то же время и умиленное выражение. Рот консула был полуоткрыт, на глаза время от времени набегали слезы. Он писал:

«Сегодня, 14 апреля 1838 года, утром в шесть часов, моя возлюбленная супруга Элизабет, урожденная Крегер, с Господнего соизволения благополучно разрешилась дочкой, которая при святом крещении будет наречена Кларой. Милостив был к ней Господь, хотя доктор Грабов и признал, что роды наступили несколько преждевременно, да и до того не все с ней обстояло благополучно; страдания, которые претерпела бедная Бетси, были жестоки. Господи Боже наш! Ты один помогаешь нам во всех бедах и злключениях и внятно возвещаешь волю свою, дабы мы, убоявшись тебя, покорились повелениям и заветам твоим! Господи Боже наш, блюди и паси нас в этой земной юдоли...»

Перо его торопливо, безостановочно, ровно выводило строчки, взывавшие к Богу, лишь изредка запинаясь, чтобы сделать кудрявый купеческий росчерк. Двумя страничками ниже он начертал:

«Я выписал на имя своей новорожденной дочери полис на сто пятьдесят талеров. Веди ее по пути своему, Господи! Даруй ей чистое сердце, дабы она, когда пробьет ее час, вступила в обитель вечного блаженства! Знаю, сколь трудно всем сердцем веровать, что сладчайший Иисус есть достояние наше, ибо немощно земное, ничтожное сердце наше...»

Исписав еще три страницы, консул поставил: «аминь», но его перо, чуть поскрипывая, еще долго продолжало скользить по бумаге. Оно писало о благодатном источнике, освежающем усталого путника, о кровоточащих ранах Божественного искупителя, о пути узком и пути широком, о великом милосердии Господа Бога. Не будем скрывать, что порой консул уже испытывал потребность остановиться, отложить перо, войти в спальню к жене или отправиться в контору. Но что это? Неужто так скоро утомила его беседа с Творцом и Вседержителем? Не святотатственно ли уже сейчас прекратить ее? Нет, нет, и нет, он не остановится! И, дабы покарать себя за нечестивые помыслы, консул еще долго цитировал длинные куски из Священного Писания, выписывал молитвы за здоровье и благоденствие своих родителей, за жену и детей, за себя самого, а также за своего брата Готхольда и, наконец начертав последнее библейское изречение и поставив троекратное «аминь», насыпал золотистого песку на бумагу, с облегчением вздохнул и откинулся на спинку кресла.

Заложив ногу за ногу, он неторопливо полистал в тетради, перечитывая записанные его собственной рукой события и размышления, и еще раз возблагодарил Господа, что своей десницею отвел все опасности, когда-либо грозившие ему, консулу Будденброку. В младенчестве он болел оспой так сильно, что его уже считали не жильцом на этом свете, – и все же выздоровел. Однажды, еще ребенком, он наблюдал, как на их улице готовились к чьей-то свадьбе и варили пиво (по старому обычаю, свадебное пиво должно было быть домашней варки); для этой цели у наружных дверей был установлен громадный котел. И вот эта махина опрокинулась, с шумом покатила и ударила его дном с такой страшной силой, что сбежавшиеся соседи вшестером едва-едва подняли котел. Голова мальчика была поранена, кровь лилась ручьями. Его снесли в соседнюю лавку и, поскольку жизнь еще теплилась в нем, послали за врачом и хирургом. Отца уговаривали покориться воле Божьей: сын не останется в живых... Но всеблагодатный Господь направил руку врача, и вскоре мальчик был здоров, как прежде.

Заново пережив в душе это событие, консул взял перо и написал под своим последним «аминь»: «Вечно буду возносить хвалу тебе, Господи!»

В другой раз, когда он еще совсем молодым человеком приехал в Берген, Господь спас его от гибели в море.

«Во время путины, – гласила запись, – когда рыбацьи суда прибыли с севера, нам пришлось немало поработать, чтобы, пробившись сквозь чашу судов, пришвартоваться к своему причалу. Я стоял на самом борту трешкота, упершись ногами в дубовую уключину, а спиной в борт соседнего рыбацкого судна, и старался подвести свой трешкот как можно ближе к причалу. На мою беду, уключина сломалась, и я головою вниз полетел в воду. Мне удалось вынырнуть, но – увы! – никто не мог схватить меня; с величайшим трудом я всплыл вторично, но тут на меня надвинулся трешкот. На нем было достаточно людей, желавших меня спасти, но они должны были сперва оттолкнуться, дабы трешкот или одно из соседних суденышек не потопили меня. Надо думать, все их усилия остались бы тщетными, если бы на одном баркасе сам собою не оборвался канат, отчего трешкот подался в сторону, – и я, Господним соизволением, оказался на свободном пространстве! В третий раз мне уже не удалось вынырнуть на поверхность, над водою мелькнули только мои волосы, но так как все уже склонилось над бортом, то кто-то схватил меня за вихор, я же уцепился за руку своего спасителя. Тут этот человек, потеряв равновесие, поднял такой вой и крик, что другие бросились к нему на помощь и ухватили его за ноги, – теперь ему уже не грозила опасность свалиться в воду. Я тоже крепко держался за него, хотя он и укусил мне руку. Таким-то образом я и спасся...»

Засим следовала длинная благодарственная молитва, которую консул перечитал увлажненными глазами.

«Я мог бы сказать о многом, – стояло в другом месте, – если бы хотел говорить о своих страстях, однако...» Эти страницы он счел за благо перевернуть и принялся читать отдельные записи, относящиеся к его женитьбе и к первой поре отцовства. По чести говоря, брак консула не мог быть назван браком по любви. Однажды старый Будденброк, похлопав сына по плечу, рекомендовал ему обратить внимание на дочь богача Крегера – она могла бы принести фирме большое приданое; консул охотно пошел навстречу желаниям отца и с тех пор почитал свою жену как богоданную подругу жизни...

Со второй женитьбой отца дело, в сущности, обстояло не иначе.

Он предостойный человек
С галантерейным гляncем... —

доносился из спальни голос старика Будденброка. Его-то, к сожалению, очень мало интересовали все эти старые записи и бумаги. Он жил только настоящим и не вникал в прошлое семьи, хотя в былое время тоже заносил кое-что в эту золотообрезную тетрадь своим затейливым почерком; эти записи касались главным образом его первого брака.

Консул перевернул листки, более грубые и плотные, чем те, которые он сам подшил в тетрадь, и уже начинавшие покрываться желтизной... Да, Иоганн Будденброк-старший был, видимо, трогательно влюблен в первую свою жену, дочь бременского купца; похоже, что тот единственный быстролетный год, который ему суждено было прожить с нею, был счастливейшим в его жизни. «*L'année le plus heureuse de ma vie*»³¹, – вписал он однажды и подчеркнул эти слова волнистой линией, не убоившись, что они попадутся на глаза мадам Антуанетте.

А потом явился на свет Готхольд, и Жозефина заплатила жизнью за этого ребенка... Странные заметки о первенце Иоганна Будденброка хранила пожелтевшая бумага. Отец яро и горько ненавидел это новое существо с той самой минуты, как его энергичные движения начали причинять ужасающую боль матери, ненавидел за то, что, когда сын явился на свет, здоровый и жизнеспособный, она, откинув на подушки бескровное лицо, отошла в вечность, – и так никогда и не простил непрошеному прищельцу убийства матери. Консул отказывался это понять. «Она умерла, – думал он, – выполнив высокое назначение женщины, и я бы перенес любовь к ней на существо, которому она подарила жизнь, которое она оставила мне, отходя в лучший мир... Но отец всегда видел в своем старшем сыне только дерзкого разрушителя своего счастья. Позднее он сочетался браком с Антуанеттой Дюшан из богатой и уважаемой гамбургской семьи, и они долгие годы шли одним путем, неизменно почтительные и внимательные друг к другу».

Консул еще полистал тетрадь. Прочитал на последних страницах краткие записи о собственных детях, о кори у Тома, о желтухе у Антонии, о том, как Христиан перенес ветряную оспу; пробежал глазами свои заметки о путешествиях вместе с женой в Париж, Швейцарию и Мариенбад и снова вернулся к началу тетради, где жесткие, как пергамент, местами надорванные и пожелтевшие страницы хранили выцветшие размашистые каракули, нацарапанные его дедом Будденброком, тоже Иоганном. Эти записи начинались с пространной генеалогии, с перечисления прямых предков. В XVI столетии, значилось здесь, некий Будденброк – первый, к кому можно было возвести их род, – жительствовавший в Пархеме, а сын его сделался ратсгерром в Грабау. Один из последующих Будденброков, портной и старшина портновского цеха, женился в Ростове, «жил в отличном достатке» (эти слова были подчеркнуты) и наплодил кучу детей, живых и мертвых, как судил Господь... Далее рассказывалось о том, как другой Будден-

³¹ Самый счастливый год в моей жизни (*фр.*).

брок, уже звавшийся Иоганном, занялся торговлей там же, в Росток, и, наконец, как много лет спустя прибыл сюда дед консула и учредил хлеботорговую фирму. Об этом предке все уже было известно. Здесь были точно обозначены даты: когда у него была ветряная и когда настоящая оспа, когда он свалился с потолка сушилки и остался жив, хотя, падая, мог наткнуться на балки, и когда с ним случилась буйная горячка. К этим своим заметкам он приобщил ряд наставлений потомству, из которых прежде всего бросалось в глаза одно, тщательно выписанное высокими готическими буквами и обведенное рамкой: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Далее обстоятельно рассказывалось о принадлежащей ему старинной Библии виттенбергской печати, которая должна перейти к его первенцу, а от того, в свою очередь, – к старшему сыну...

Консул Будденброк поближе придвинул к себе бювар, чтобы вынуть и еще раз перечитать кое-какие бумаги. Здесь лежали старые-престарые, желтые, полуистлевшие письма, которые заботливые матери слали своим работавшим на чужбине сыновьям, с пометками последних: «Благополучно прибыло и принято к сердцу». Грамоты с гербом и печатями вольного ганзейского города о даровании гражданских прав, полисы, поздравительные стихи, приглашения в восприемники. Были здесь и трогательные деловые письма из Стокгольма или Амстердама, писанные сыном «отцу и компаньону», в которых наряду с утешительными вестями о ценах на пшеницу стояли просьбы «незамедлительно передать привет жене и детям»... Был и дорожный дневник самого консула, повествующий о его поездке в Англию и Брабант, – тетрадь в переплете, с медными украшениями – видами Эдинбургского замка и Сенного рынка. Здесь же хранились и печальные документы – злобные письма Готхольда к отцу, и наконец – в качестве радостного финала – стихотворное поздравление Жан-Жака Гофштеде с новосельем...

Тут послышался тоненький торопливый звон. В церковную башню на выцветшей картине, что висела над секретером и изображала рыночную площадь, были вставлены настоящие часы, которые и прозвонили десять. Консул закрыл бювар, бережно вложил его в потайной ящик и пошел в спальню к жене.

Стены спальни были обиты темной материей в крупных цветах; из нее же были сделаны занавески и полог над кроватью роженицы. Казалось, что миром и отдохновением от недавно пережитого страха и мук веял самый воздух этой комнаты, слегка нагретый печью и пропитанный смешанным запахом одеколона и лекарств. Сквозь закрытые шторы едва пробивался свет.

Старый Будденброк и мадам Антуанетта стояли, склонившись над колыбелью, погруженные в созерцание спящего ребенка. Консулыша в изящном кружевном матине, с тщательно расчесанными рыжеватыми волосами, еще бледная, но радостно улыбающаяся, протянула мужу свою прекрасную руку, на которой, даже сейчас, тихонько зазвенели золотые браслеты. При этом она, по привычке, вывернула ее ладонью вверх, что должно было сообщить этому жесту особую сердечность.

– Ну, как ты себя чувствуешь, Бетси?

– Отлично, отлично, мой милый Жан.

Не выпуская ее руки из своей, он, как и старики, только с другой стороны, склонился над ребенком, часто-часто посапывавшим, и с минуту вдыхал исходивший от него теплый и трогательный запах.

– Да будет над тобою милость Господня, – тихонько произнес он, целуя лобик крохотного создания, чьи желтые морщинистые пальчики до ужаса напоминали куриные лапки.

– Она насосалась, – сказала мадам Антуанетта, – и сразу потяжелела...

– Хотите – верьте, хотите – нет, а она очень похожа на Нетту. – Иоганн Будденброк сегодня весь светился счастьем и гордостью. – У нее огненно-черные глаза, черт меня побери!

Мадам Будденброк из скромности запротестовала:

– Ах, о каком сходстве можно сейчас говорить!.. Ты собираешься в церковь, Жан?

– Да, уже пробило десять, значит – пора. Я только жду детей...

Тут как раз слышались их голоса. Дети шумели на лестнице самым неподобающим образом; Клотильда шикала на них. Но вошли они в своих меховых шубках, – ведь в Мариенкирхе было еще по-зимнему холодно, – тихо и осторожно: во-первых, чтобы не побеспокоить маленькую сестренку, главное же потому, что перед богослужением полагалось сосредоточиться. Лица у всех были красные и возбужденные. Сегодня праздник так праздник! Аист – верно, очень крупный и сильный аист! – кроме сестренки, принес еще целую кучу всякого добра: новый ранец из тюленьей кожи для Томаса, большую куклу с настоящими волосами – просто диво! – для Антонии, книгу с пестрыми картинками для примерной девочки Клотильды, – впрочем, она, молчаливая и благодарная, занялась почти исключительно кулечками со сладостями, тоже принесенными аистом, – а для Христиана кукольный театр со всеми атрибутами – с султаном, чертом и смертью...

Они поцеловали мать, получили дозволение еще раз заглянуть за зеленую шелковую занавеску и вслед за отцом, который тем временем облекся в крылатку и взял в руки молитвенник, молча и чинно отправились в церковь, преследуемые пронзительным криком вдруг проснувшегося нового члена семьи Будденброков.

Глава вторая

На лето уже в мае или в начале июня Тони Будденброк всегда перебиралась к деду и бабушке за Городские ворота, и, надо сказать, с превеликой радостью.

Хорошо жилось там среди природы, в роскошно обставленном загородном доме с многочисленными службами, пристройками, конюшнями; огромный фруктовый сад, огороды и цветники крегеровского владения спускались до самой Травы. Старики жили на широкую ногу. Между этим щегольским богатством и несколько тяжеловатым благосостоянием в родительском доме существовало заметное различие. Здесь все выглядело куда более роскошным, и это производило немалое впечатление на юную мадемуазель Будденброк.

О работе по дому, а тем более на кухне здесь не было и речи, тогда как на Менгштрассе, хотя бабушка и мама не придавали этому особого значения, бабушка и отец, напротив, нередко заставляли Тони вытирать пыль, ставя ей в пример покорную, набожную и трудолюбивую кузину Тильду. Аристократические наклонности материнской семьи невольно пробуждались в юной девице, когда она, лежа в качалке, отдавала приказания горничной или лакею. Кроме них, в услужении у стариков состояли еще кучер и две служанки.

Что ни говори, а приятно утром проснуться в просторной спальне, обитой светлым штофом, и тут же ощутить под рукой атлас тяжелого стеганого одеяла; очень недурно также, когда к первому завтраку в так называемой балконной, куда сквозь растворенную в сад стеклянную дверь проникает свежий утренний воздух, тебе подают не кофе и не чай, а шоколад, – да, да, каждый день праздничный шоколад! И к нему большой кусок сладкого пирога.

Правда, этот завтрак Тони – за исключением воскресных дней – поела в одиночестве, так как старики Крегеры спускались вниз многим позднее. Дожевав свой пирог, она хватала ранец, сбегала вниз с террасы и шла по заботливо ухоженному саду, окружавшему дом.

Она была очень мила, эта маленькая Тони Будденброк. Из-под ее соломенной шляпы выбивались густые кудрявые волосы, белокурые, но с каждым годом принимавшие все более пепельный оттенок; чуть выдававшаяся вперед верхняя губка придавала задорное выражение ее свежему личику с серо-голубыми веселыми глазами; эта хорошенькая головка венчала изящную маленькую фигурку, упруго и уверенно, хотя и чуть-чуть враскачку, ступавшую тонкими ножками в белоснежных чулках. Многие горожане знали и весело приветствовали дочку консула Будденброка, когда она из ворот сада выходила в Каштановую аллею. Какая-нибудь торговка овощами в большой соломенной шляпе, подвязанной зелеными лентами, восседая в своей деревенской повозке, приветливо кричала ей: «С добрым утром, барышня», а дюжий грузчик Маттисен, в черной куртке, в широких штанах и в башмаках с пряжками, из почтительности даже снимал перед нею свой шершавый цилиндр...

Здесь Тони останавливалась, поджидая Юльхен Хагенштрем, с которой они обычно вместе отправлялись в школу. У Юльхен были немного слишком высокие плечи и большие блестящие черные глаза; она жила рядом с Крегерами на вилле, сплошь увитой диким виноградом. Ее отец, г-н Хагенштрем, семья которого лишь недавно обосновалась в этом городе, женился на молодой особе из Франкфурта, с очень густыми черными волосами и огромными бриллиантами в ушах, каких не было ни у одной из местных дам; в девичестве ее фамилия была Землингер. Г-н Хагенштрем, компаньон экспортной конторы «Штрук и Хагенштрем», выказывал много усердия и честолюбия, участвуя в обсуждении общегородских дел, но более строгие блюстители традиций, как то: Меллендорфы, Ланхгальсы и Будденброки, несколько чуждались его из-за этой женитьбы; да и вообще его недолюбливали, несмотря на то что он был деятельным членом всевозможных комитетов, коллегий и правлений. Хагенштрем словно задался целью по любому поводу спорить с представителями старинных домов; он хитроумно опровергал их мнения, противопоставляя таковым свои, якобы более передовые, и всячески стремился дока-

зять, что он человек деловой и для города незаменимый. Консул Будденброк говорил о нем: «Хинрих Хагенштрем только и знает, что пакостить нам... Мне лично он просто проходу не дает... Сегодня он устроил спектакль на заседании главного благотворительного комитета, а несколько дней назад – в финансовом департаменте...» Иоганн Будденброк-старший добавлял: «Пакостник, каких свет не видывал...»

Как-то раз консул и его отец вернулись домой к обеду злые и расстроенные. Что случилось? Ах, ничего особенного. Просто мимо носа прошла поставка большой партии ржи в Голландию – ее перехватили «Штрук и Хагенштрем». Ну и лиса же этот Хинрих Хагенштрем!..

Тони достаточно часто слышала такие разговоры, чтобы не питать к Юльхен Хагенштрем особенно нежных чувств. Они ходили в школу вместе, потому что им было по пути, но при этом всячески старались досадить друг другу.

– У моего папы тысяча талеров, – говорила Юльхен, воображая, что беспардонно лжет. – А у твоего?

Тони отмалчивалась, изнемогая от зависти и унижения. А потом замечала спокойно и как бы мимоходом:

– Ах, до чего вкусный был сегодня шоколад... А что ты пьешь за завтраком, Юльхен?

– Да, пока я не забыла, – отвечала Юльхен, – скушай-ка яблочко, у меня много с собой. Много-то много, а тебе не дам ни одного, – заключала она, поджимая губы, и ее черные глаза становились влажными от удовольствия.

Иногда с ними вместе шел в школу брат Юльхен, Герман, постарше ее года на два или на три. У нее был и второй брат, Мориц, но тот из-за слабого здоровья учился дома. У Германа были белокурые волосы и слегка приплюснутый к верхней губе нос. Кроме того, он беспрестанно чмокал губами, так как дышал только через рот.

– Вздор, – заявлял он, – у папы куда больше тысячи!

Но самое интересное в нем было то, что он брал с собою в школу на завтрак не хлеб, а плюшку: мягкую сдобную булочку овальной формы с коринками, на которую он клал еще кусок языковой колбасы или гусиной грудки. Такой уж у него был вкус!

Тони Будденброк никогда ничего подобного не видывала. Сладкая плюшка с гусиной грудкой – да ведь это должно быть превкусно! И когда он однажды позволил ей заглянуть в свою жестянку с завтраком, она призналась, что очень хотела бы попробовать кусочек.

Герман сказал:

– От своего я урвать не могу, но завтра я захвачу и для тебя такой бутерброд, если ты дашь мне кое-что взамен.

На следующее утро Тони прождала в аллее целых пять минут, Юльхен все не шла. Она постояла еще с минуту, и вот появился Герман, один, без сестры; он раскачивал висевшую на ремне жестянку с завтраком и тихонько чмокал губами.

– Ну, – сказал он, – вот тебе плюшка с гусиной грудкой; я постарался выбрать без жиру, одно мясо... Что ты мне за это дашь?

– А что тебе надо? – осведомилась Тони. – Хочешь шиллинг?

Они стояли посередине аллеи.

– Шиллинг? – повторил Герман; потом проглотил слюну и объявил: – Нет, я хочу совсем другого.

– Чего же? – спросила Тони. Она уже готова была отдать что угодно за лакомый кусочек.

– Поцелуй! – крикнул Герман Хагенштрем, облапил Тони и стал целовать куда попало, так, впрочем, и не коснувшись ее лица, ибо она с необыкновенной увертливостью откинула голову назад, уперлась левой рукой, в которой держала сумку с книгами, ему в грудь, а правой три или четыре раза изо всей силы ударила его по физиономии. Он пошатнулся и отступил, но в то же мгновение из-за какого-то дерева, словно черный дьяволенок, выскочила сестричка

Юльхен, шипя от злости, бросилась на Тони, сорвала с нее шляпу и отчаянно исцарапала ей щеки. После этого происшествия они уже никогда не ходили в школу вместе.

Впрочем, Тони отказала юному Хагенштрему в поцелуе отнюдь не из робости. Она была довольно резвым созданием и доставляла своими шалостями немало огорчений родителям, в особенности консулу. Тони обладала сметливым умом и быстро усваивала всю школьную премудрость, но поведение ее было настолько неудовлетворительно, что в конце концов начальница школы, некая фрейлейн Агата Фермерен, потя от застенчивости, явилась на Менгштрассе и весьма учтиво посоветовала г-же Элизабет Будденброк сделать дочери серьезное внушение, ибо та, несмотря на многократные увещевания, снова была уличена в неблагоприятном поведении, да еще вдобавок вне стен школы, на улице.

Не беда, конечно, что Тони знала решительно всю округу и решительно со всеми вступала в разговор: консул, не терпевший гордыни, даже сочувствовал этому, как проявлению простодушия и любви к ближнему. Она толкалась вместе с Томасом в амбарах на берегу Травы среди наваленных на земле груд пшеницы и ржи, болтала с рабочими и писцами, сидевшими в маленьких темных конторах с оконцами на уровне земли, помогала грузчикам поднимать мешки с пшеницей. Она знала всех мясников, проходивших по Брейтенштрассе в белых фартуках, с лотками на голове; подсаживалась к молочницам, приезжавшим из деревень в повозках, уставленных жестяными жбанам; заговаривала с седоволосыми ювелирами, которые сидели в маленьких деревянных будках, приютившихся под сводами рынка; дружила со всеми торговками рыбой, фруктами, зеленью, так же как с рассыльными, меланхолически жевавшими табак на перекрестках. Хорошо, пускай!

Но чем, например, виноват бледный безбородый, грустно улыбающийся человек неопределенного возраста, который по утрам выходит на Брейтенштрассе подышать чистым воздухом, что всякий внезапный и резкий окрик, вроде «эй» или «о-го-го!», заставляет его дрыгать ногой? И все же Тони, едва завидев его, всякий раз кричала: «Эй!» Или что хорошего неизменно преследовать маленькую, худенькую, большеголовую женщину, при любой погоде держащую над собой громадный дырявый зонтик, кличками «Мадам Зонт» или «Шампиньон»? Еще того хуже, пожалуй, являться с двумя или тремя столь же озорными подругами к домику старушки, торгующей тряпчонными куклами в узеньком закоулке близ Иоганнесштрассе, у которой и правда были на редкость красные глаза, изо всей силы дергать колокольчик, с притворной учтивостью спрашивать у отворившей дверь старушки, здесь ли проживают господин и госпожа Плевок, и затем с гиканьем улепетывать. Тем не менее Тони Будденброк все это проделывала, и проделывала, надо думать, с чистой совестью. Ибо если очередная ее жертва пыталась угрожать ей, то надо было видеть, как Тони отступала на шаг назад, закидывала хорошенькую головку, оттопыривала верхнюю губку и полувозмущенно, полунасмешливо произносила: «Пфф!» – точно желая сказать: «Попробуй только мне что-нибудь сделать. Или ты не знаешь, что я дочь консула Будденброка?»

Так расхаживала она по городу, словно маленькая королева, знающая за собою право быть то доброй, то жестокой, в зависимости от прихоти или расположения духа.

Глава третья

Жан-Жак Гофштеде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула.

Томас, с самого рождения предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с готическими сводами, был умный, подвижный и смывленный мальчик, что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда Христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей, и в первую очередь бравого Марцеллуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы.

Господин Штенгель, у которого из жилетного кармана всегда высывалось не менее полдюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде: «Тебе надо провести линию, дитя мое, а ты что делаешь? Ты проводишь черту!» Он выговаривал не «линия», а «линья». Нерадивому ученику он объявлял: «Ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно» (звучало это как «шрок» и «бешшрочно»). Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зеленый лес», причем некоторым из учеников приказывал выходить в коридор и, когда хор запевал:

Мы весело бродим полями, лесами... —

тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на Христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизеке, сына городского брандмайора, то они, вместо того чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире г-на Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Г-н Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Будденброку, Крегеру и Гизеке по чашке кофе «на брата» и вскоре отпускал молодых людей восвояси...

И в самом деле, ученые мужи, просвещавшие юношество в стенах старой, некогда монастырской, школы, под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика директора, были люди безобидные и незлобивые, все, как один, полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга, и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность.

В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русыми бакенбардами и живыми блестящими глазами, по фамилии Пастор, ранее и вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «pastor» означает: «пастырь», «пастух». Любимым его изречением было: «Безгранично ограниченный», и никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез.

Развлекал он учеников и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки с шампанским. Он любил также, большими шагами расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее, с целью расшевелить воображение мальчиков. Но тут же становился серьезен и переходил к работе, то есть приказывал им читать стихи — вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительных грамматических построений и рече-

вых оборотов, которые он сам «декламировал» с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы...

Юность Тома и Христиана... Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Будденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего.

Господин Штут, портной с Глокенгиссерштрассе, супруга которого промышляла скупкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, г-н Штут, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, сшил за семьдесят марок два костюма для молодых Будденброков, но, по желанию обоих, согласился поставить в счет восемьдесят и вручить им разницу чистоганом, – дельце пусть не совсем чистое, но не такое уж из ряда вон выходящее.

Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что г-ну Штуту пришлось облачиться в черный сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Будденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Г-н Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги и почтительно склонив голову, заверил последнего, что «раз уж такое вышло дело», он рад будет получить и семьдесят марок, – «ничего не попишешь, коли так повернулось...». Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелом размышлении он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано: «Не введи нас во искушение».

На Томаса Будденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата.

У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый. Христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью...

Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя; на десерт поданы фрукты.

Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку, лицо его бледнеет, круглые, глубоко посаженные глаза расширяются.

– Никогда больше не буду есть персиков! – объявляет он.

– Почему?... Что за глупости? Что с тобой?

– А вдруг я по нечаянности... проглочу эту здоровенную косточку, вдруг она застрянет у меня в глотке... Я начинаю задыхаться... вскакиваю, меня душит, все вы тоже вскакиваете... – У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон: «О-о!» Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать.

Консулыша, а также мамзель Юнгман и вправду вскакивают с места.

– Господи, Боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, Христиан?

По виду Христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла.

– Нет, конечно, нет, – отвечает он, мало-помалу успокаиваясь. – Ну а что, если бы проглотил?

Консул, тоже бледный от испуга, начинает его бранить, дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но Христиан действительно долгое время не ест персиков.

Глава четвертая

В один морозный январский день, через шесть лет после того как Будденброки переехали в дом на Менгштрассе, мадам Антуанетта слегла в свою высокую кровать под балдахином, чтобы уже больше не подняться; и свалила ее не одна только старческая слабость. До последних дней старая дама была бодра и с привычным достоинством носила свои тугие белые букли; она посещала вместе с супругом и детьми все торжественные обеды, которые давались в городе, а во время приемов в доме Будденброков не отставала от своей элегантно невестки в выполнении обязанностей хозяйки. Однажды она вдруг почувствовала какое-то странное недомогание, поначалу лишь легкий катар кишок – доктор Грабов прописал ей кусочек голубя и французскую булку, – потом у нее начались рези и рвота, с непостижимой быстротой повлекшие за собою полный упадок сил и такую слабость и вялость, что одно это уже внушало опасения.

После того как у консула состоялся на лестнице краткий, но серьезный разговор с доктором Грабовым и вместе с ним стал приходить второй врач, коренастый, чернобородый, мрачного вида мужчина, как-то переменялся даже самый облик дома. Все ходили на цыпочках, скорбно перешептывались. Подводам было запрещено проезжать через нижние сени. Словно вошло сюда что-то новое, чужое, необычное – тайна, которую каждый читал в глазах другого. Мысль о смерти проникла в дом и стала молчаливо царить в его просторных покоях.

При этом никто не предавался праздности, ибо прибыли гости. Болезнь длилась около двух недель, и уже к концу первой недели приехал из Гамбурга брат умирающей – сенатор Дюшан с дочерью, а двумя днями позднее, из Франкфурта, – сестра консула с супругом-банкиром. Все они поселились в доме, и у Иды Юнгман хлопот было не обобратиться: устраивать спальни, закупать портвейн и омаров к завтраку, в то время как на кухне уже парили и жарили к обеду.

Наверху, у постели больной, сидел Иоганн Будденброк, держа в руках ослабевшую руку своей старой Нетты; брови у него были слегка приподняты, нижняя губа отвисла. Он молча смотрел в пространство. Стенные часы тикали глухо и прерывисто, но еще глуше и прерывистее было дыхание больной. Сестра милосердия в черном платье приготавливала мясной отвар, который врач пытался дать мадам Антуанетте; время от времени неслышно входил кто-нибудь из домочадцев и вновь исчезал.

Возможно, Иоганн Будденброк вспоминал о том, как сорок шесть лет назад впервые сидел у постели умирающей жены; возможно, сравнивал дикое отчаяние, владевшее им тогда, и тихую тоску, с которой он, сам уже старик, вглядывался теперь в изменившееся, ничего не выражающее, до ужаса безразличное лицо старой женщины, которая никогда не заставила его испытать ни большого счастья, ни большого страдания, но долгие годы умно и спокойно жила бок о бок с ним и теперь медленно угасала.

Он ни о чем, собственно, не думал и только, неодобрительно покачивая головой, всматривался в пройденный путь, в жизнь, ставшую вдруг какой-то далекой и чуждой, в эту бессмысленно шумную суету, в круговороте которой он некогда стоял и которая теперь неприметно от него отступала, но, как-то назойливо для его уже отвыкшего слуха, продолжала шуметь вдали. Время от времени он вполголоса бормотал:

– Странно! Очень странно!

И когда мадам Будденброк испустила свой последний короткий и безболезненный вздох, когда в большой столовой носильщики подняли покрытый цветами гроб и, тяжело ступая, понесли его, он даже не заплакал, но с тех пор все тише, все удивленнее покачивал головой, и сопровождаемое кроткой улыбкой «Странно! Очень странно!» сделалось его постоянным присловием.

Без сомнения, сочтены были и дни Иоганна Будденброка.

Отныне он сидел в кругу семьи молчаливый и отсутствующий, а если брал на руки маленькую Клару и начинал петь ей одну из своих смешных песенок, как например:

Подходит омнибус к углу...

Или

Гуляла муха по стеклу... —

то случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую череду полубессознательных мыслей, спускал внучку с колен, покачивая головой, бормотал: «Странно!» – и отворачивался... Однажды он сказал:

– Жан, assez?³² А?..

И вскоре по городу разошлись аккуратно отпечатанные и скрепленные двумя подписями уведомления, в которых Иоганн Будденброк senior учтиво оповещал адресатов о том, что преклонный возраст понуждает его прекратить свою торговую деятельность, и посему фирма «Иоганн Будденброк», учрежденная его покойным отцом еще в 1768 году, со всем своим активом и пассивом переходит под тем же названием в единоличное владение его сына и компаньона – Иоганна Будденброка-младшего. Далее следовала просьба удостоить сына такого же доверия, каким пользовался он сам, и подпись: «Иоганн Будденброк senior, отныне уже не глава фирмы».

Но после того как эти уведомления были разосланы и старик заявил, что ноги его больше не будет в конторе, его задумчивость и безразличие возросли до степени уже устрашающей. И вот в середине марта, через несколько месяцев после кончины жены, Иоганн Будденброк, схватив пустячный весенний насморк, слег в постель. А вскоре наступила ночь, когда вся семья собралась у одра больного, и он обратился к консулу:

– Итак, счастливо, Жан, а? И помни – courage!

Потом к Томасу:

– Будь помощником отцу!

И к Христиану:

– Постарайся стать человеком!

После этих слов старик умолк, оглядел всех собравшихся и, в последний раз пробормотав: «Странно!» – отвернулся к стене.

Он до самой кончины так и не упомянул о Готхольде, да и старший сын на письменное предложение консула прийти к одру умирающего отца ответил молчанием. Правда, на следующее утро, когда уведомления о смерти еще не были разосланы и консул спускался по лестнице, чтобы отдать неотложные распоряжения в конторе, произошло примечательное событие: Готхольд Будденброк, владелец бельевого магазина «Зигмунд Штювинг и К°» на Брейтенштрассе, быстрым шагом вошел в сени. Сорока шести лет от роду, невысокий и плотный, он носил пышные, густые белокурые бакенбарды, в которых местами уже сквозила седина. На его коротких ногах мешком болтались брюки из грубой клетчатой материи. Заторопившись навстречу консулу, он высоко поднял брови под полями серой шляпы и тут же нахмурил их.

– Что слышно, Иоганн? – произнес он высоким и приятным голосом, не подавая руки брату.

– Сегодня ночью он скончался, – взволнованно отвечал консул и схватил руку брата, державшую зонтик. – Наш дорогой отец!

³² Не пора ли кончать? (фр.)

Готхольд насупил брови; они нависли так низко, что веки сами собой закрылись. Помолчав, он холодно спросил:

– До последней минуты так ничего и не изменилось, Иоганн?

Консул тотчас же выпустил его руку, более того – поднялся на одну ступеньку вверх; взгляд его круглых глубоко посаженных глаз вдруг стал ясным, когда он ответил:

– Ничего!

Брови Готхольда снова взлетели вверх к полям шляпы, а глаза выжидательно уставились на брата.

– Могу ли я рассчитывать на твое чувство справедливости? – спросил он, понизив голос.

Консул тоже потупился, но затем, так и не поднимая глаз, сделал решительное движение рукой – сверху вниз и ответил тихо, но твердо:

– В эту тяжкую и трудную минуту я протянул тебе руку как брату. Что же касается деловых вопросов, то я могу обсуждать их только как глава всеми уважаемой фирмы, единоличным владельцем которой я являюсь с сегодняшнего дня. Ты не можешь ждать от меня ничего, что противоречило бы долгу, который налагает на меня это звание. Здесь все другие мои чувства должны умолкнуть.

Готхольд ушел. Тем не менее на похороны, когда толпа родственников, знакомых, клиентов, грузчиков, конторщиков, складских рабочих, а также депутатов от всевозможных фирм заполнила комнаты, лестницы и коридоры и все извозчики кареты города длинной вереницей выстроились вдоль Менгштрассе, он, к нескрываемой радости консула, все же явился в сопровождении супруги, урожденной Штювинг, и трех уже взрослых дочерей: Фридерики и Генриетты – сухопарых и долговязых девиц, и младшей – коротышки Пфиффи, непомерно толстой для своих восемнадцати лет.

После речи, которую произнес над открытой могилой в фамильном склепе Будденброков, на опушке кладбищенской рощи за Городскими воротами, пастор Келлинг из Мариенкирхе, мужчина крепкого телосложения, с могучей головой и грубоватой манерой выражаться, – речи, восхвалявшей воздержанную, богоугодную жизнь покойного, не в пример жизни некоторых «сластолюбцев, обжор и пьяниц», – так он и выразился, хотя при этом многие, помнившие благородную скромность недавно умершего старого Вундерлиха, недовольно переглянулись, – словом, после окончания всех церемоний и обрядов, когда не то семьдесят, не то восемьдесят наемных карет уже двинулись обратно в город, Готхольд Будденброк вызвался проводить консула, объяснив это своим желанием переговорить с ним с глазу на глаз. И что же: сидя рядом с братом в высокой, громоздкой и неуклюжей карете и положив одну короткую ногу на другую, Готхольд проявил неожиданную кротость и сговорчивость. Он объявил, что чем дальше, тем больше понимает правоту консула в этом деле и что не хочет поминать лихом покойного отца. Он отказывается от своих притязаний тем охотнее, что решил вообще покончить с коммерцией и, уйдя на покой, жить на свою долю наследства и на то, что ему удалось скопить. Бельевой магазин все равно доставляет ему мало радости и торгует так вяло, что он не рискнет вложить в него дополнительный капитал.

«Господь не взыскует милостью строптивного сына», – подумал консул, возносясь душою к Богу.

И Готхольд, вероятно, подумал то же самое.

По приезде на Менгштрассе консул поднялся с братом в маленькую столовую, где оба они, продрогшие от долгого стояния на весеннем воздухе, выпили по рюмке старого коньяку. Потом Готхольд обменялся с невесткой несколькими учтивыми, пристойными случая слов, погладил детей по головкам и удалился, а неделю спустя приехал на очередной «детский день» в загородный дом Крегеров. Он уже приступил к ликвидации своего магазина.

Глава пятая

Консула очень огорчало, что отцу не суждено было дожить до вступления в дело старшего внука, – события, которое свершилось в том же году, после Пасхи.

Томасу было шестнадцать лет, когда он вышел из училища. За последнее время он сильно вырос и после конфирмации, во время которой пастор Келлинг в энергических выражениях призывал его к умеренности, начал одеваться как взрослый, отчего казался еще выше. На шее он носил оставленную ему дедом длинную золотую цепочку, на которой висел медальон с гербом Будденброков, – гербом довольно меланхолическим: его неровно заштрихованная поверхность изображала болотистую равнину с одинокой и оголенной ивой на берегу.

Старинное фамильное кольцо с изумрудной печаткой, предположительно принадлежавшее еще «жившему в отличном достатке» портному из Ростока, и большая Библия перешли к консулу.

С годами Томас стал так же сильно походить на деда, как Христиан на отца. В особенности напоминали старого Будденброка его круглый характерный подбородок и прямой, тонко очерченный нос. Волосы его, разделенные косым пробором и двумя заливчиками отступавшие от узких висков с сетью голубоватых жилок, были темно-русые; по сравнению с ними ресницы и брови – одну бровь он часто вскидывал кверху – выглядели необычно светлыми, почти бесцветными. Движения Томаса, речь, а также улыбка, открывавшая не слишком хорошие зубы, были спокойны и рассудительны. К будущему своему призванию он относился серьезно и ревностно.

То был в высшей степени торжественный день, когда консул после первого завтрака взял с собой сына в контору, чтобы представить его г-ну Маркусу – управляющему, г-ну Хаверманну – кассиру и остальным служащим, хотя Том давно уже состоял со всеми ими в самых лучших отношениях; в этот день наследник фирмы впервые сидел на вертящемся стуле у конторки, усердно штемпелюя, разбирая и переписывая бумаги, а под вечер отправился вместе с отцом вниз, к Тра́ве, в амбары «Липа», «Дуб», «Лев» и «Кит», где он тоже, собственно говоря, давно чувствовал себя как дома, но теперь шел туда представляться в качестве сотрудника.

Он самозабвенно предался делу, подражая молчаливому, упорному рвению отца, который работал не щадя сил и не раз записывал в свой дневник молитвы о ниспослании ему помощи свыше, – ведь консулу надлежало теперь возместить значительный капитал, утраченный фирмой по смерти старика Будденброка, фирма же в их семье была понятием священным.

Однажды вечером в ландшафтной он довольно подробно обрисовал жене истинное положение дел.

Было уже половина двенадцатого, дети и мамзель Юнгман спали в комнатах, выходивших в коридор, ибо третий этаж теперь пустовал, и там лишь время от времени ночевали приезжие гости. Консулыша сидела на белой софе, рядом с мужем, который просматривал «Биржевые ведомости» и курил сигару. Она склонилась над вышиваньем и, чуть-чуть шевеля губами, иголкой подсчитывала стежки. Около нее, на изящном рабочем столике с золотым орнаментом, в канделябре горело шесть свечей; люстру в этот вечер не зажигали.

Иоганн Будденброк, которому давно уже перевалило за сорок, в последнее время заметно состарился. Его маленькие круглые глаза, казалось, еще глубже ушли в орбиты, большой горбатый нос и скулы стали резче выдаваться вперед, а белокурые волосы, разделенные аккуратным пробором, выглядели слегка припудренными на висках. Что же касается консулыши, то она на исходе четвертого десятка полностью сохранила свою пусть не безупречно красивую, но блестящую внешность, и даже матовая белизна ее кожи, чуть-чуть тронутой веснушками, не утратила своей природной нежности. Ее рыжеватые, искусно уложенные волосы мерцали золотом в свете канделябров. Отведя на мгновение от работы светло-голубые глаза, она сказала:

– Я прошу тебя подумать, дорогой мой Жан: не следует ли нам нанять лакея?.. По-моему, это очень желательно. Когда я вспоминаю о доме моих родителей...

Консул опустил газету на колени и вынул изо рта сигару; взгляд его сделался напряженным: ведь речь шла о новых денежных издержках.

– Вот что я тебе скажу, моя дорогая и уважаемая Бетси. – Он прибег к столь длинному обращению, чтобы иметь время придумать достаточно веские возражения. – Ты говоришь, лакея? После смерти родителей мы оставили в доме всех трех служанок, не говоря уж о мамзель Юнгман, и мне думается...

– Ах, Жан, дом такой огромный, что я иногда прихожу в отчаяние. Я, конечно, говорю: «Лина, милочка, в задних комнатах бог знает как давно не вытиралась пыль». Но не могу же я допустить, чтобы люди выбивались из сил; ты не знаешь, сколько они и без того возятся, стараясь хоть эту часть дома содержать в чистоте и порядке... Лакея можно посылать с поручениями, да и вообще... Нам следовало бы взять толкового и непритязательного человека из деревни... Кстати, пока я не забыла: Луиза Меллендорф собирается отпустить своего Антона; я видела, как он умело прислуживает за столом...

– Должен признаться, – сказал консул и с неудовольствием задвигался на софе, – что я никогда об этом не думал. Мы сейчас почти не посещаем общества и сами не даем вечеров...

– Верно, верно, но гости у нас бывают часто, и ты знаешь, что они приходят не ко мне, дорогой мой, хотя я от души им рада. Приезжает к тебе старый клиент из другого города, ты приглашаешь его к обеду, – он еще не успел снять номер в гостинице, – и, само собой разумеется, ночует у нас. Потом приезжает миссионер и гостит у нас дней семь-восемь... Через две недели мы ждем пастора Матиаса из Канштата... Словом, расход на жалованье так незначителен, что...

– Но сколько таких расходов, Бетси! Мы оплачиваем четырех людей в доме, а ты забываешь жалованье конторским служащим.

– Неужели уж нам не под силу держать лакея? – с улыбкой спросила консульша, склонив голову и искоса взглядывая на мужа. – Когда я думаю о количестве прислуги у моих родителей...

– У твоих родителей, милая Бетси? Нет, я все-таки должен спросить: достаточно ли ясно ты себе представляешь, как обстоят наши дела?

– Ты прав, Жан, я не очень-то во всем этом разбираюсь.

– Сейчас я разъясню тебе, – сказал консул. Он уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, затянулся сигарой и, слегка прищурившись, начал бойко оглашать цифры: – Без лишних слов: покойный отец до замужества моей сестры имел круглым счетом девятьсот тысяч марок, не считая, разумеется, земельной собственности и стоимости фирмы. Восемьдесят тысяч ушли во Франкфурт в качестве приданого. Сто тысяч были даны Готхольду на обзаведение. Остается, как видишь, семьсот двадцать тысяч. Затем был приобретен этот дом, обошедшийся – помимо суммы, которую мы выручили за наш старый домик на Альфштрассе, – со всеми улучшениями и нововведениями ровно в сто тысяч марок; остается шестьсот двадцать тысяч. Сестре уплатили компенсацию в размере двадцати пяти тысяч, – следовательно, в остатке пятьсот девять тысяч. Таким капитал и остался бы до смерти отца, если бы все эти расходы не были в течение нескольких лет возмещены прибылью в двести тысяч марок. Следовательно, наше состояние вновь возросло до семисот девяти тысяч. По смерти отца Готхольду было выплачено еще сто тысяч марок, франкфуртской родне – двести шестьдесят семь тысяч. Если прибавить к этому еще несколько тысяч марок, составившихся из небольших сумм, завещанных отцом больнице Святого Духа, купеческой вдовьей кассе и тому подобное, останется четыреста двадцать тысяч, а с твоим приданым на сто тысяч больше. Вот тебе итог. Конечно, без учета известного колебания ценностей. Мы не так уж страшно богаты, дорогая моя Бетси.

И вдобавок следует помнить, что наше дело хоть и сократилось, но расходы остались те же; оно так поставлено, что у нас нет возможности их урезать... Ты поняла меня?

Консулыша, все еще державшая вышиванье на коленях, кивнула, впрочем, несколько неуверенно.

– Отлично поняла, мой милый Жан, – отвечала она, хотя отнюдь не все было ей понятно. А главное, она не могла взять в толк: почему все эти крупные суммы должны помешать ей нанять лакея?

Сигара консула вновь вспыхнула красным огоньком, он откинул голову, выпустил дым и продолжал:

– Ты полагаешь, что, когда Господь призовет к себе твоих родителей, нам достанется довольно солидный капитал? Это верно. Но тем не менее... Мы не вправе легкомысленно на него рассчитывать. Мне известно, что твой отец понес довольно значительные убытки; известно также, что это случилось из-за Юстуса... Юстус – превосходный человек, но делец не из сильных, и к тому же ему очень не повезло. При нескольких операциях со старыми клиентами он понес значительный урон, а результатом уменьшения оборотного капитала явилось вздорожание кредитов, по соглашению с банками, и твоему отцу пришлось вызволять его из беды с помощью довольно крупных сумм. Подобная история может повториться, боюсь даже, что повторится обязательно, ибо – ты уж прости меня, Бетси, за откровенность – то несколько легкое отношение к жизни, которое так симпатично в твоём отце, давно удалившемся от дел, отнюдь не пристало твоему брату, деловому человеку. Ты понимаешь меня... он недостаточно осторожен... Что? Как-то слишком опрометчив и поверхностен... А твои родители – и я этому душевно рад – до поры до времени ничем не поступаются; они ведут барскую жизнь, как им и подобает при их положении.

Консулыша снисходительно усмехнулась: она знала предубеждение мужа против барственных замашек ее семьи.

– Так вот, – продолжал он, кладя в пепельницу окурок сигары, – я со своей стороны полагаюсь главным образом на то, что Господь сохранит мне трудоспособность, дабы я с его милосердной помощью мог довести капитал фирмы до прежнего размера... Надеюсь, тебе теперь все стало гораздо яснее, Бетси?

– О да, Жан, конечно! – торопливо отвечала консулыша, ибо на этот вечер она уже решила отказаться от разговора о лакее. – Но пора спать, мы сегодня и так засиделись...

Впрочем, несколько дней спустя, когда консул вернулся из конторы к обеду в отличнейшем расположении духа, было решено взять Антона, отпущенного Меллендорфами.

Глава шестая

– Тони мы отдадим в пансион; к мадемуазель Вейхбротт, конечно, – заявил консул Будденброк, и притом так решительно, что никто его не оспаривал.

Как мы уже говорили, Тони и Христиан подавали больше поводов к неудовольствию домашних, нежели Томас, рьяно и успешно вживавшийся в дело, а также быстро подраставшая Клара и бедная Клотильда с ее завидным аппетитом. Что касается Христиана, то ему – и это было еще наименьшее из зол – почти каждый день после уроков приходилось пить кофе у г-на Штенгеля, так что консульша, которой это в конце концов наскучило, послала учителю любезную записочку с просьбой почтить ее посещением. Г-н Штенгель явился на Менгштрассе в своем праздничном парике, в высочайших воротничках, с торчащими из жилетного кармана острыми, как копыя, карандашами, и был приглашен консульшей в ландшафтную. Христиан подслушивал это собеседование из большой столовой. Почтенный педагог красноречиво, хотя и немного конфузясь, изложил хозяйке дома свои взгляды на воспитание, поговорил о существенной разнице между «линьей» и «чертой», упомянул о «Зеленом лесе» и угольном ящике и в продолжение всего визита непрестанно повторял «а стало быть» – словечко, по его мнению, наилучшим образом соответствовавшее аристократической обстановке Будденброков. Минут через пятнадцать явился консул, прогнал Христиана и выразил г-ну Штенгелю свое живейшее сожаление по поводу дурного поведения сына.

– О, помилуйте, господин консул, стоит ли об этом говорить. У гимназиста Будденброка бойкий ум, живой характер. А стало быть... Правда, и много задору, если мне позволено будет это заметить... гм... а стало быть...

Консул учтиво провел г-на Штенгеля по всем комнатам дома, после чего тот откланялся.

Но это все еще с полбеда! Беда же заключалась в том, что на поверхность всплыло новое происшествие. Гимназист Христиан Будденброк однажды получил разрешение посетить вместе с приятелем Городской театр, где в тот вечер давали драму Шиллера «Вильгельм Телль»; роль сына Вильгельма Телля, Вальтера, как на грех, исполняла молодая особа, некая мадемуазель Мейер де ла Гранж, за которой водилось одно странное обыкновение: независимо от того, подходило это к ее роли или нет, она неизменно появлялась на сцене с брошкой, усыпанной бриллиантами, подлинность которых не внушала никаких сомнений, ибо всем было известно, что эти бриллианты – подарок молодого консула Петера Дельмана, сына покойного лесоторговца Дельмана с Первой Вальштрассе у Голштинских ворот. Консул Петер, как, впрочем, и Юстус Кребер, принадлежал к людям, прозывавшимся в городе «*suitiers*»³³, – то есть вел несколько фривольный образ жизни. Он был женат, имел даже маленькую дочку, но уже давно развёхался с женой и жил на положении холостяка. Состояние, оставленное ему отцом, чье дело он продолжал, было довольно значительное; поговаривали, однако, что он уже начал тратить основной капитал. Большую часть времени консул Дельман проводил в клубе или в погребке под ратушей, где он имел обыкновение завтракать. Чуть ли не каждое утро, часа в четыре, его видели на улицах города; кроме того, он часто отлучался в Гамбург по делам. Но прежде всего он был страстным театралом, не пропускал ни одного представления и выказывал большой интерес к личному составу труппы.

Мадемуазель Мейер де ла Гранж была последней в ряду юных артисток, которых он в знак своего восхищения одаривал бриллиантами.

Но вернемся к нашему рассказу. Упомянутая молодая особа в роли Вальтера Телля выглядела очаровательно (на груди мальчика сверкала неизменная брошка) и играла так трогательно, что у гимназиста Будденброка от волнения выступили слезы на глазах; более того, ее

³³ Прожигатели жизни (*фр.*).

игра подвигла его на поступок, который может быть объяснен только бурным порывом чувства. В антракте он сбегал в цветочный магазин напротив театра и приобрел за одну марку восемь с половиной шиллингов букет, с которым этот четырнадцатилетний ловелас, длинноносый и круглоглазый, проник за кулисы и, поскольку никто его не остановил, дошел до самых дверей уборной мадемуазель Мейер де ла Гранж, возле которых она разговаривала с консулом Дельманом. Консул чуть не умер от смеха, завидев Христиана, приближавшегося с букетом; тем не менее сей новый «suitier», отвесив изысканный поклон Вальтеру Теллю, вручил ему букет и голосом, почти скорбным от полноты чувств, произнес:

– Как вы прекрасно играли, сударыня!

– Нет, вы только полюбуйтесь на этого Кришана Будденброка! – воскликнул консул Дельман, по обыкновению растягивая гласные.

А мадемуазель Мейер де ла Гранж, высоко подняв хорошенькие бровки, спросила:

– Как? Это сын консула Будденброка? – И весьма благосклонно потрепала по щечке своего нового поклонника.

Всю эту историю Петер Дельман в тот же вечер разгласил в клубе, после чего она с невероятной быстротой распространилась по городу и дошла до ушей директора гимназии, который, в свою очередь, сделал ее темой разговора с консулом Будденброком. Как тот отнесся ко всему происшедшему? Он не столько рассердился, сколько был потрясен и подавлен. Рассказывая об этом консулыше в ландшафтной, он выглядел вконец разбитым человеком.

– И это наш сын! И так идет его развитие!..

– Боже мой, Жан, твой отец просто бы посмеялся!.. Не забудь рассказать об этом в четверг у моих родителей. Папа будет от души веселиться.

Тут уж консул не выдержал:

– О да, я убежден, что он будет веселиться, Бетси. Он будет радоваться, что его ветреность, его легкомысленные наклонности передались не только Юстусу, этому suitier, но и внуку... Черт возьми, ты вынуждаешь меня это высказать! Мой сын отправляется к такой особе, тратит свои карманные деньги на лоретку! Он еще сам не осознает этого, нет, но врожденные наклонности сказываются, – да, да, сказываются...

Что и говорить, пренеприятная вышла история. И консул тем более возмущался, что и Тони, как мы говорили выше, вела себя не вполне благонаправно. Правда, с годами она перестала дразнить бледного человека и заставлять его дрыгать ногой, так же как перестала звонить у дверей старой кукольной, но она откидывала голову с видом все более и более дерзким и все больше и больше, в особенности после летнего пребывания у старых Крегеров, впадала в грех высокомерия и суетности.

Как-то раз консул очень огорчился, застав ее и мамзель Юнгман за чтением «Мимили» Клаурена; он полистал книжку и, ни слова не говоря, раз и навсегда запер ее в шкаф. Вскоре после этого выяснилось, что Тони – Антония Будденброк! – отправилась без старших, вдвоем с неким гимназистом, приятелем братьев, гулять к Городским воротам. Фрау Штут, та самая, что вращалась в высших кругах, встретила эту парочку и, зайдя к Меллендорфам на предмет покупки старого платья, высказалась о том, что вот-де и мамзель Будденброк входит в возраст, когда... А сенаторша Меллендорф самым веселым тоном пересказала все это консулу. Таким прогулкам был положен конец. Но вскоре обнаружилось, что мадемуазель Тони достает любовные записочки – все от того же гимназиста – из дупла старого дерева у Городских ворот, пользуясь тем, что оно еще не заделано известкой, и, в свою очередь, кладет туда записочки, ему адресованные. Когда все это всплыло на свет божий, стало очевидно, что Тони необходим более строгий надзор, а следовательно – нужно отдать ее в пансион мадемуазель Вейхбротт, Мюлленбринк, дом семь.

Глава седьмая

Тереза Вейхбротт была горбата, – так горбата, что, стоя, едва возвышалась над столом. Ей шел сорок второй год, но она не придавала значения внешности и одевалась, как дама лет под шестьдесят или под семьдесят. На ее седых, туго закрученных буклях сидел чепец с зелеными лентами, спускавшимися на узкие, как у ребенка, плечи; ее скромное черное платье не знало никаких украшений, если не считать большой овальной фарфоровой брошки с портретом матери.

У маленькой мадемуазель Вейхбротт были умные, пронзительные карие глаза, нос с горбинкой и тонкие губы, которые она порою поджимала с видом решительным и суровым. Да и вообще вся ее маленькая фигурка, все ее движения были полны энергии, пусть несколько комичной, но, бесспорно, внушающей уважение. Этому немало способствовала и ее манера говорить. А говорила она быстро, резко и судорожно двигая нижней челюстью и выразительно покачивая головой, на чистейшем немецком языке, и вдобавок старательно подчеркивая каждую согласную. Гласные же она произносила даже несколько утрированно, так что у нее получалось, к примеру, не «бутерброд», а «ботерброд» или даже «батерброд»; да и свою капризную, брехливую собачонку окликала не «Бобби», а «Бабби». Когда она говорила какой-нибудь из пансионеров: «Не будь же как гл-о-опа, дитя мое», и при этом дважды ударяла по столу согнутым в суставе пальцем, то это неизменно производило впечатление; а когда мадемуазель Попинэ, француженка, клала себе в кофе слишком много сахара, Тереза Вейхбротт, подняв глаза к потолку и побарабанив пальцами по столу, так выразительно произносила: «Я бы уже сразу взяла всю сахарницу», что мадемуазель Попинэ заливалась краской.

Ребенком – Бог ты мой, до чего же она, вероятно, была мала ребенком! – Тереза Вейхбротт называла себя Зеземи, и это имя за ней сохранилось, ибо самым лучшим и прилежным ученицам, равно живущим в пансионе и приходящим, разрешалось так называть ее.

– Называй меня Зеземи, дитя мое, – в первый же день сказала она Тони Будденброк, запечатлев на ее лбу короткий и звонкий поцелуй. – Мне это приятно!

Старшую сестру Терезы Вейхбротт, мадам Кетельсен, звали Нелли.

Мадам Кетельсен, особа лет сорока восьми, оставшись после смерти мужа без всяких средств, жила у сестры в маленькой верхней комнатке и ела за столом вместе с пансионерками. Одевалась она не лучше Зеземи, но, в противоположность ей, была необыкновенно долговяза; на ее худых руках неизменно красовались напульсники. Не будучи учительницей, она не имела понятия о строгости, и все существо ее, казалось, было соткано из кроткой и тихой жизнерадостности. Если какой-нибудь из воспитанниц случалось напроказить, она разражалась веселым, от избытка добродушия, почти жалобным смехом, и смеялась до тех пор, покуда Зеземи, выразительно стукнув по столу, не восклицала: «Нелли», что звучало как «Налли».

Мадам Кетельсен беспрекословно повиновалась младшей сестре и позволяла ей распекать себя, как ребенка, Зеземи же относилась к ней с нескрываемым презрением. Тереза Вейхбротт была начитанной, чтобы не сказать ученой девицей; ей пришлось приложить немало усилий, дабы сохранить свою детскую веру, свое бодрое, твердое убеждение, что на том свете ей воздается сторицей за ее трудную и серую земную жизнь. Мадам Кетельсен, напротив, была невежественна, неискушенна и простодушна.

– Добрейшая Нелли, – говаривала Зеземи, – Бог мой, да она совершенный ребенок! Ни разу в жизни ею не овладевало сомнение, никогда она не ведала борьбы, счастливица...

В этих словах заключалось столько же пренебрежения, сколько и зависти, – кстати сказать, чувство зависти было дурным, хотя и простительным свойством характера Зеземи.

Во втором этаже красного кирпичного домика, расположенного в предместье города и окруженного заботливо выращенным садом, помещались классные комнаты и столовая; верх-

ний этаж, а также мансарда были отведены под спальни. Воспитанниц у мадемуазель Вейхбротт было немного; она принимала только девочек-подростков, ибо в ее пансионе имелось лишь три старших класса – для живущих и для приходящих учениц. Зеземи строго следила за тем, чтобы к ней попадали девицы лишь из бесспорно высокопоставленных семейств.

Тони Будденброк, как мы уже говорили, была принята с нежностью; более того – в честь ее поступления Тереза сделала к ужину бишоф – красный и сладкий пунш, подававшийся холодным, который она готовила с подлинным мастерством: «Еще биш-афа?» – предлагала она, ласково трясая головой. И это звучало так аппетитно, что никто не мог отказаться.

Мадемуазель Вейхбротт, восседая на двух жестких диванных подушках во главе стола, осмотрительно и энергично управляла трапезой. Она старалась как можно прямее держать свое хилое тельце, бдительно постукивала по столу, восклицала: «Налли!», «Бабби!» – и уничтожала взглядом мадемуазель Попинэ, когда та еще только собиралась положить себе на тарелку все желе от холодной телятины. Тони посадили между двумя другими пансионерками: Армгард фон Шиллинг, белокурой и пышной дочерью мекленбургского землевладельца, и Гердой Арнольдсен из Амстердама, выделявшейся своей изящной и своеобразной красотой: темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза и прекрасное белое, немного надменное лицо. Напротив нее неумолчно болтала француженка, которую огромные золотые серьги делали похожей на негритянку. На нижнем конце стола, с кислой улыбкой на устах, сидела мисс Браун, сухопарая англичанка, тоже проживавшая у мадемуазель Вейхбротт.

Благодаря бишофу, приготовленному Зеземи, все быстро подружились. Мадемуазель Попинэ сообщила, что прошедшей ночью ее снова душили кошмары. «Ah, quelle horreur!»³⁴ Она так кричала: «Помогать! Помогать! Ворри!», что все повскакали с постелей. Далее выяснилось, что Герда Арнольдсен играет не на фортепиано, как другие, а на скрипке и что ее папа – матери Герды не было в живых – обещал подарить ей настоящего Страдивариуса. Тони, как большинство Будденброков и все Крегеры, была немзыкальна. Она даже не различала хоралов, которые играли в Мариенкирхе. О, зато у органа в *Nieuwe kerk*³⁵ в Амстердаме поистине vox humana – человеческий голос, и как он великолепно звучит!

Армгард фон Шиллинг рассказывала о коровах у них в имении. Эта девица с первого же взгляда произвела на Тони сильнейшее впечатление, – уже тем, что она была первой дворянкой, с которой ей пришлось соприкоснуться. Именоваться фон Шиллинг – какое счастье! Родители Тони жили в старинном и едва ли не прекраснейшем доме города, дед и бабка были люди с аристократическими повадками, – но звались-то они просто «Будденброки», просто «Крегеры». Дворянство Армгард кружило голову внучке элегантного Лебрехта Крегера, хотя она иной раз втихомолку и подумывала, что это великолепное «фон» гораздо больше подошло бы ей, – ведь Армгард, Боже правый, ничуть не ценила этого счастья; она безмятежно заплетала свою толстую косу, смотрела на все добродушными голубыми глазами, растягивала слова на мекленбургский манер и вовсе не думала о своем дворянстве. На Армгард не было ни малейшего налета «благородства», она ни капельки на него не претендовала и никакого вкуса к нему не имела. «Благородство!» – это словцо крепко засело в головке Тони, и она убежденно применяла его к Герде Арнольдсен.

Герда держалась немного особняком, в ней было что-то чужеземное и чужеродное; она любила, несмотря на неудовольствие Зеземи, несколько вычурно причесывать свои великолепные волосы, и многие считали «ломаньем», – а это было серьезное осуждение, – ее игру на скрипке. И все же нельзя было не согласиться с Тони, что в Герде и правда «бездна благородства»!

³⁴ Какой ужас! (фр.)

³⁵ Новая церковь (голл.).

Печать этого благородства лежала не только на ее не по годам развитой фигуре, но даже на ее привычках, на вещах, ей принадлежащих, – вот, например, парижский туалетный прибор из слоновой кости. Тони сразу сумела оценить его по достоинству, так как в доме Будденброков имелось много подобных, бережно хранимых предметов, вывезенных из Парижа ее родителями или еще дедом с бабкой.

Три молодые девушки быстро вступили в дружеский союз. Все они учились в одном классе и жили в одной – самой просторной – комнате верхнего этажа.

Как приятно и весело проводили они время после десяти вечера, когда полагалось расходиться по комнатам! Сколько они болтали, раздеваясь, – правда, вполголоса, так как за стеной мадемуазель Попинэ уже начинали мерещиться вору. Мадемуазель Попинэ спала вместе с маленькой Евой Эверс из Гамбурга, отец которой, любитель искусств и коллекционер, теперь жил в Мюнхене.

Коричневые полосатые шторы в это время были уже спущены, на столе горела низенькая лампа под красным абажуром; чуть слышный запах фиалок и свежего белья наполнял комнату, и девушек охватывало слегка приглушенное настроение усталости, безмятежности и мечтательности.

– Боже мой, – говорила полураздетая Армгард, сидя на краю кровати, – до чего же красноречив доктор Нейман! Он входит в класс, становится у стола и начинает говорить о Расине...

– У него прекрасный высокий лоб, – вставляла Герда, расчесывавшая волосы перед освещенным двумя свечами зеркалом в простенке между окнами.

– Да, – быстро соглашалась Армгард.

– А ты и начала весь разговор, Армгард, только для того, чтобы это услышать. Ты не сводишь с него своих голубых глаз, словно...

– Ты его любишь? – спросила Тони. – Никак не могу развязать ботинок... Пожалуйста, Герда, помоги... Так!.. Ну вот, если ты его любишь, Армгард, выходи за него замуж: право же, это хорошая партия. Он будет преподавать в гимназии...

– Господи, до чего вы обе несносны! Я вовсе не люблю его. И вообще я выйду не за учителя, а за помещика...

– За дворянина? – Тони уронила чулок, который она держала в руке, и в задумчивости уставилась на Армгард.

– Не знаю, но, во всяком случае, у него должно быть большое имение. Ах, я уж и сейчас радуюсь, девочки! Я буду вставать в пять часов утра и приниматься за хозяйство... – Она натянула на себя одеяло и мечтательно вперила взор в потолок.

– Перед ее духовным оком уже пасутся пятьсот коров, – сказала Герда, глядя в зеркало на подругу.

Тони еще не совсем разделась, но уже улеглась, положив руки под голову, и тоже смотрела в потолок.

– А я, конечно, выйду за коммерсанта, – заявила она. – Только у него должно быть очень много денег, чтобы мы могли устроить дом «благородно» и на широкую ногу. Это мой долг по отношению к семье и к фирме, – серьезно добавила она. – Вот посмотрите, так оно и будет.

Герда кончила убирать волосы на ночь и стала чистить свои широкие белые зубы, разглядывая себя в ручное зеркальце в оправе из слоновой кости.

– А я, скорей всего, совсем не выйду замуж, – проговорила она не без труда, так как ей мешал мятный порошок во рту. – Зачем мне это? У меня нет ни малейшего желания! Я уеду в Амстердам, буду играть дуэты с папой, а потом поселюсь у своей замужней сестры.

– О, как скучно будет без тебя, – живо вскричала Тони. – Ужасно скучно! Тебе надо выйти замуж и остаться здесь навсегда... Послушай, выходи за кого-нибудь из моих братьев!..

– За этого, с длинным носом? – Герда зевнула, сопровождая зевок легким пренебрежительным вздохом, и прикрыла рот зеркальцем.

– Можно и за другого, не все ли равно... Господи, как бы вы могли устроиться. Нужно только пригласить Якобса, обойщика Якобса с Фишерштрассе, у него благороднейший вкус. Я бы каждый день ходила к вам в гости...

Но тут раздавался голос мадемуазель Попинэ:

– Ah, voyons, mesdames! Спать! спать, s'il vous plaît!³⁶ Сегодня вечером вы уж все равно не успеете выйти замуж.

Все воскресенья, а также каникулярное время Тони проводила на Менгштрассе или за городом у старых Крегеров. Какое счастье, если в светлое Христово Воскресение выдается хорошая погода, ведь так приятно разыскивать яйца и марципановых зайчиков в огромном крегеровском саду! А до чего хорошо отдыхать летом у моря – жить в кургаузе, обедать за табльдотом, купаться и ездить на ослике. В годы, когда дела у консула шли хорошо, Будденброки предпринимали путешествия и более дальние. А Рождество с подарками, которые получаешь в трех местах – дома, у деда с бабушкой и у Зеземи, где в этот вечер бишоф льется рекой!.. Но, что ни говори, всего великолепнее сочельник дома! Консул любит, чтобы этот вечер протекал благолепно, роскошно, подлинно празднично: все семейство торжественно собиралось в ландшафтной, а в ротонде уже толпились прислуга и разный пришлый люд, городская беднота, какие-то старики и старушки, – консул всем пожимал их сизо-красные руки – и за дверью вдруг раздавалось четырехголосное пение, хорал, исполняемый певчими из Мариенкирхе, такой ликующий, что сердце начинало сильнее биться в груди, а из-за высоких белых дверей в это время уже пробивался запах елки. Затем консулыша медленно прочитывала из фамильной Библии с непомерно большими буквами главу о Рождестве Христовом; когда она кончала, за стенами комнаты снова раздавалось церковное пение, а едва успевало оно отзвучать, как все уже затягивали: «О, елочка! О, елочка!» – и торжественным шествием направлялись в большую столовую со статуями на шпалерах, где вся в белых лилиях и в дрожащих блестках, ароматная, сверкающая, к потолку вздымалась елка и стол с рождественскими дарами тянулся от окон до самых дверей.

На улице, покрытой смерзшейся снежной пеленой, играли итальянцы-шарманщики, и с рыночной площади доносился гул рождественской ярмарки. В этот вечер все дети, за исключением маленькой Клары, принимали участие в позднем праздничном ужине, происходившем в ротонде, за которым в устрашающем изобилии подавались карпы и фаршированные индейки.

Надо еще добавить, что в течение этих лет Тони Будденброк дважды гостила в мекленбургских имениях. Около месяца она пробыла со своей подругой Армгард в поместье г-на фон Шиллинга, расположенном на берегу залива, напротив Травемюнде. В другой раз поехала с кузиной Клотильдой в имение, где г-н Бернгард Будденброк служил управляющим. Оно называлось «Неблагодатное» и не приносило ни гроша дохода, но летом там жилось очень неплохо.

Так шли годы. Так протекала счастливая юность Тони Будденброк.

³⁶ Ну-ка, сударыни! Извольте! (фр.)

Часть третья

Глава первая

В июне месяце, под вечер, часов около пяти, семья консула Будденброка кончала пить кофе в саду перед «порталом», куда консульша распорядилась принести из беседки легкую, изящной работы бамбуковую мебель. Внутри беседки, в побеленной комнатке, где на большом стенном зеркале были нарисованы порхающие птицы, а задние двустворчатые лакированные двери, если приглядеться, оказывались вовсе не дверьми, – даже ручки были просто к ним пририсованы, – воздух слишком накалился.

Консул, его супруга, Тони, Том и Клотильда сидели за круглым столом, на котором поблескивала еще не убранная посуда. Христиан со скорбным выражением лица учил в сторонке вторую речь Цицерона против Катилины. Консул курил сигару, углубившись в чтение «Ведомостей». Консульша, положив на колени вышиванье, с улыбкой следила за маленькой Кларой, которая под присмотром Иды Юнгман искала фиалки, изредка попадавшиеся на зеленом лужку. Тони, подперев голову обеими руками, с увлечением читала «Серапионовых братьев» Гофмана, а Том потихоньку щекотал ей затылок травинкой, чего она благодарно старалась не замечать. Клотильда, тощая и старообразная, в неизменном ситцевом платье в цветочках, читая рассказ под названием «Слеп, глух, нем – и все же счастлив», время от времени сгребала в кучку бисквитные крошки на скатерти, потом брала их всей пятерней и бережно препровождала в рот.

Небо с недвижно стоявшими на нем редкими белыми облаками мало-помалу начинало бледнеть. Маленький, пестреющий цветами, опрятный сад с клумбами и симметрично проложенными дорожками покоился в лучах предвечернего солнца. Легкий ветерок время от времени доносил запах резеды, окаймлявшей клумбы.

– Ну, Том, – сказал благодушествовавший сегодня консул, вынимая изо рта сигару, – дело относительно ржи с «Ван Хейкдомом и компания», о котором я тебе говорил, видимо, устраивается.

– Сколько он дает? – заинтересовался Томас и перестал мучить Тони.

– Шестьдесят талеров за тонну... Неплохо, а?

– Отлично! – Том сразу оценил выгоду этой сделки.

– Кто так сидит, Тони! Это не *comme il faut*³⁷, – заметила консульша; и Тони, не отрывая глаз от книги, сняла один локоть со стола.

– Не беда, – сказал Томас. – Пусть сидит как хочет, все равно она остается Тони Будденброк. Тильда и Тони, бесспорно, первые красавицы у нас в семье.

Клотильда была поражена.

– О Бо-оже, Том, – проговорила она.

Удивительно, до чего ей удалось растянуть эти короткие слова.

Тони терпела молча. Том был находчив, и с этим обстоятельством приходилось считаться, – он ведь опять сумеет ответить так, что все расхохочутся и примут его сторону. Она только сердито раздула ноздри и передернула плечами. Но когда консульша заговорила о предстоящем бале у консула Хунеуса и упомянула что-то о новых лакированных башмачках, Тони сняла со стола второй локоть и живо подхватила разговор.

³⁷ Не принято в хорошем обществе (*фр.*).

– Вы все болтаете и болтаете, – жалобно воскликнул Христиан, – а у меня адски трудный урок! О, я бы тоже хотел быть коммерсантом!

– Ты каждый день хочешь чего-нибудь другого, – отрезал Том.

Но тут в саду показался Антон с подносом, на котором лежала визитная карточка, и все взоры с любопытством обратились к нему.

– «Грюнлих, агент, – прочитал консул, – из Гамбурга». Весьма приятный человек, наилучшим образом мне рекомендованный; сын пастора. У меня с ним дела, нам надо кое-что обсудить... Ты не возражаешь, Бетси? Антон, проси господина Грюнлиха пожаловать сюда.

По дорожке, с палкой и шляпой в правой руке, вытянув вперед шею, уже семенил мужчина среднего роста, лет тридцати двух, в зеленовато-желтом ворсистом сюртуке и в серых нитяных перчатках. Жидкие белокурые волосы осеняли его розовое, улыбающееся лицо, на котором около носа гнездилась большая бородавка. Подбородок и верхняя губа у него были гладко выбриты, а со щек, на английский манер, свисали длинные бакенбарды золотисто-желтого цвета. Он еще издали, с видом, выражающим нелицеприятную преданность, взмахнул своей большой светло-серой шляпой.

Последний шаг перед столом он сделал нарочито длинный, причем описал верхней частью корпуса такой полукруг, что его поклон мог быть отнесен ко всем сразу.

– Я помешал, я вторгся в недра семьи, – произнес он бархатным голосом. – Здесь все заняты чтением интересных книг, беседой... Прошу прощения!

– Добро пожаловать, уважаемый господин Грюнлих! – отвечал консул. Он поднялся с места, как и оба его сына, и теперь пожимал руку гостю. – Рад случаю приветствовать вас у себя вне стен конторы. Бетси, господин Грюнлих, наш давнишний клиент... Моя дочь Антония... Клотильда, моя племянница... С Томасом вы уже знакомы... а это мой младший сын, Христиан, гимназист...

После каждого имени г-н Грюнлих отвечивал поклон.

– Смеем вас уверить, – продолжал он, – что я не хотел нарушить ваш покой. Я пришел по делу, и если мне позволено будет просить господина консула прогуляться по саду...

Консультша перебила его:

– Вы окажете нам любезность, если, прежде чем приступить к деловым разговорам с моим мужем, побудете немного с нами. Садитесь, прошу вас!

– Премного благодарен, – прочувственно отвечал г-н Грюнлих. Он опустился на краешек стула, подставленного ему Томасом, положил палку и шляпу на колени, затем уселся поудобнее, пригладил одну из бакенбард и легонько кашлянул, издав звук вроде «хэ-эм». Все это выглядело так, словно он хотел сказать: «Ну, хорошо, это вступление. А что дальше?»

Консультша немедленно начала занимать гостя.

– Вы ведь из Гамбурга, господин Грюнлих, – осведомилась она, слегка склонив голову набок и по-прежнему держа вышиванье на коленях.

– Так точно, сударыня, – подтвердил г-н Грюнлих с новым поклоном. – Проживаю я в Гамбурге, но мне приходится много времени проводить в разъездах, я человек занятой. А дело мое, надо сказать, очень живое... хэ-эм!

Консультша подняла брови и пошевелила губами. Это должно было означать одобрительное: «Ах, вот как!»

– Неустанная деятельность – первейшая моя потребность, – добавил г-н Грюнлих, обернувшись к консулу, и опять кашлянул, заметив взгляд фрейлейн Антонии – холодный, испытующий взгляд, каким девушки меряют незнакомых молодых людей и который, кажется, вот-вот готов изобразить уничижительное презрение.

– У нас есть родные в Гамбурге, – произнесла Тони, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Дюшаны, – пояснил консул, – семейство моей покойной матери.

– О, мне это отлично известно, – поторопился заявить г-н Грюнлих. – Я имел честь быть им представленным. Все члены этой семьи превосходные люди, люди с большим умом и сердцем, хэ-эм! Право, если бы во всех семьях царила такая атмосфера, мир был бы много краше. Тут и вера, и отзывчивость, и подлинное благочестие – короче говоря, мой идеал: истинное христианство. И наряду с этим изящная светскость, благородство манер, подлинный аристократизм. Меня, госпожа консулыша, все это просто очаровало!

«Откуда он знает моих родителей? – подумала Тони. – Он говорит именно то, что они хотят услышать...»

Но тут консул заметил:

– Такой идеал, господин Грюнлих, я могу только приветствовать.

Консулыша тоже не удержалась и в знак сердечной признательности протянула гостю руку ладонью вверх; браслеты тихонько зазвенели при этом движении.

– Вы будто читаете мои мысли, дорогой господин Грюнлих!

В ответ г-н Грюнлих привстал и поклонился, потом снова сел, погладил бакенбарды и кашлянул, словно желая сказать: «Ну что ж, продолжим!»

Консулыша обмолвилась несколькими словами о майских днях сорок второго года, столь страшных для родного города г-на Грюнлиха.

– О да, – согласился он, – этот пожар был страшным бедствием, тяжелой карой. Убытки, по сравнительно точному подсчету, равнялись ста тридцати пяти миллионам. Впрочем, мне лично оставалось только возблагодарить провидение... я ни в малейшей мере не пострадал. Огонь свирепствовал главным образом в приходах церковей Святого Петра и Святого Николая... Какой прелестный сад! – перебил он сам себя и, поблагодарив консула, протянувшего ему сигару, продолжал: – В городе редко можно встретить сад таких размеров. И цветник необыкновенно красочный. О, цветы и природа вообще, признаться, моя слабость! А эти маки в том конце, пожалуй, наилучшее его украшение.

Далее г-н Грюнлих похвалил расположение дома, город, сигару консула и для каждого нашел какое-то любезное слово.

– Разрешите полюбопытствовать, мадемуазель Антония, что за книжка у вас в руках? – с улыбкой спросил он.

Тони почему-то нахмурила брови и отвечала, не глядя на г-на Грюнлиха:

– «Серапионовы братья» Гофмана.

– О, в самом деле? Это писатель весьма выдающийся, – заметил он. – Прошу прощения, я позабыл, как звать вашего младшего сына, госпожа консулыша.

– Христиан.

– Прекрасное имя! Мне очень нравятся имена, которые, если можно так сказать, – г-н Грюнлих снова обернулся к хозяину дома, – уже сами по себе свидетельствуют, что носитель их христианин. В вашем семействе, насколько мне известно, из поколения в поколение переходит имя Иоганн. Как при этом не вспомнить о любимом ученике Спасителя? Я, например, разрешите заметить, – словоохотливо продолжал он, – зовусь, как и большинство моих предков, Бендикс. Имя это, в сущности, лишь просторечное сокращение от Бенедикта... И вы тоже погружены в чтение, господин Будденброк? Ах, Цицерон! Нелегкая штука речи этого великого римского оратора. «Quousque tandem, Catilina?»³⁸ Хэ-эм. Да, я тоже еще не совсем позабыл латынь.

Консул сказал:

– В противоположность моему покойному отцу я никогда не одобрял этого систематического вдалбливания латыни и греческого в головы молодых людей. Ведь есть так много серьезных, важных предметов, необходимых для подготовки к практической жизни...

³⁸ «Доколе же, Катилина?» (лат.)

– Вы высказываете мое мнение, господин консул, – поторопился вставить г-н Грюнлих, – которое я еще не успел облечь в слова! Это трудное и, по-моему, с точки зрения морали не слишком полезное чтение. Не говоря уж обо всем прочем, в этих речах, насколько мне помнится, есть места прямо-таки предосудительные.

Все замолчали, и Тони подумала: «Ну, теперь мой черед», ибо взор г-на Грюнлиха обратился на нее. И правда, настал ее черед. Г-н Грюнлих вдруг подскочил на стуле, сделал короткое, судорожное и тем не менее грациозное движение рукой в сторону консульши и страстным шепотом проговорил:

– Прошу вас, сударыня, обратите внимание! Заклинаю вас, мадемуазель, – здесь голос его зазвучал уже громче, – не двигайтесь! Обратите внимание, – он снова перешел на шепот, – как солнце играет в волосах вашей дочери! В жизни не видывал более прекрасных волос! – во внезапном порыве восторга уже серьезно воскликнул он, ни к кому в отдельности не обращаясь, а как бы взывая к Богу или к собственному сердцу.

Консульша благосклонно улыбнулась, а консул сказал:

– Право, не стоит забивать девочке голову комплиментами.

Тони молча нахмурила брови. Через минуту-другую г-н Грюнлих поднялся.

– Не буду дольше мешать вам, сударыня, я и так злоупотребил... Ведь я пришел по делу... но кто бы мог устоять... теперь мне пора... Если я смею просить господина консула...

– Я была бы очень рада, – сказала консульша, – если бы вы на время своего пребывания здесь избрали наш дом своим пристанищем.

Господин Грюнлих на мгновение онемел от благодарности.

– Я бесконечно признателен, сударыня, – растроганно произнес он наконец. – Но не смею злоупотреблять вашей любезностью. Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург».

«Несколько комнат», – подумала консульша, то есть именно то, что она и должна была подумать, по замыслу г-на Грюнлиха.

– Во всяком случае, – заключила она, еще раз сердечно протягивая ему руку, – я надеюсь, что мы видимся не в последний раз.

Господин Грюнлих поцеловал руку консульши, подождал несколько секунд, не протянет ли ему Тони свою, не дождался, описал полукруг верхней частью туловища, отступил назад, сделав очень длинный шаг, еще раз склонился, широким жестом надел свою серую шляпу, предварительно откинув голову, и удалился вместе с консулом.

– Весьма приятный молодой человек, – объявил консул, когда возвратился к своим и снова подсел к столу.

– А по-моему, он кривляка, – налегая на последнее слово, позволила себе заметить Тони.

– Тони! Господь с тобой! Что за суждение! – возмутилась консульша. – Молодой человек, в такой мере проникнутый христианскими чувствами...

– И вдобавок весьма благовоспитанный и светский! – дополнил консул. – Ты сама не знаешь, что говоришь! – Супруги из взаимной учтивости иногда менялись точкой зрения; это давало им большую уверенность в незыблемости их авторитета.

Христиан наморщил свой большой нос и сказал:

– До чего же он напыщенно выражается! «Вы заняты беседой!» А мы сидели молча. «Эти маки в конце сада – наилучшее его украшение! Я помешал, я вторгся в недра семьи! Никогда не видывал более прекрасных волос...» – И Христиан до того уморительно передразнил г-на Грюнлиха, что даже консул не удержался от смеха.

– Да, он ужасно кривляется, – снова начала Тони. – И все время говорит о себе! Его «дело живое», он любит природу, он предпочитает какие-то там имена, его зовут Бендикс... Нам-то какое до этого дело, скажите на милость! Что ни слово, то похвальба, – под конец даже злобно выкрикнула она. – Он говорил тебе, мама, и тебе, папа, только то, что вы любите слышать, чтобы втереться к вам в доверие!

– Тут ничего дурного нет, Тони, – строго отвечал консул. – Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны, выбирает слова, желая понравиться, – вполне понятно...

– А по-моему, он приятный человек, – кротко протянула Клотильда, хотя она была единственной, кого г-н Грюнлих не удостоил ни малейшего внимания.

Томас от суждения воздержался.

– Короче говоря, – заключил консул, – он хороший христианин, дельный, энергичный и образованный человек. А тебе, Тони, взрослой восемнадцатилетней девице, с которой он так мило и галантно обошелся, следовало бы быть посдержаннее на язык. У всех у нас есть свои слабости, и – уж извини меня, Тони, – не тебе бросать камень... Том, нам пора за работу!

Тони буркнула: «Золотисто-желтые бакенбарды», – и нахмурила брови, как хмурила их уже не раз в этот вечер.

Глава вторая

– О, как я был огорчен, мадемуазель, что не застал вас, – объявил г-н Грюнлих несколькими днями позднее, встретив на углу Брейтенштрассе и Менгштрассе Тони, возвращавшуюся домой с прогулки. – Я позволил себе нанести визит вашей матушке и очень сетовал, узнав о вашем отсутствии... Но теперь я бесконечно счастлив, что все же встретил вас.

Фрейлейн Будденброк пришлось остановиться, поскольку г-н Грюнлих заговорил с нею; но, полузакрыв внезапно потемневшие глаза, она так и не подняла их выше уровня груди г-на Грюнлиха, и на ее губах появилась та насмешливая и беспощадно жестокая улыбка, которой молодые девушки обычно встречают мужчину, от которого они решили тут же отвернуться. Губы ее шевелились. Что ему ответить? Надо найти слово, которое раз и навсегда оттолкнет, уничтожит этого Бендикса Грюнлиха, внушит ему уважение к ней и в то же самое время больно его ранит.

– Не могу сказать того же о себе, – ответила она, так и не отводя взора от груди г-на Грюнлиха.

Выпустив эту коварную и ядовитую стрелу, она отвернулась, закинула голову и, вся красная от гордого сознания своей находчивости и саркастической язвительности, пошла домой, где ей сообщили, что г-н Грюнлих зван к ним в следующее воскресенье отведать телячьего жаркого.

И он явился. Явился в несколько старомодном, но хорошо сшитом широком сюртуке, придававшем ему серьезный и солидный вид, все такой же розовый, улыбающийся, с аккуратно расчесанными на пробор жидкими волосами и пышно взбитыми бакенбардами. Он ел рыбу, запеченную в раковинах, суп-жюльен, телячье жаркое с гарниром из картофеля и цветной капусты под бешамелью, мараскиновый пудинг и пумперникели с рокфором, сопровождая каждую перемену блюд похвальным словом, не лишенным даже некоторого изящества. Так, например, вооружась десертной ложкой, он отставлял руку, вперял взор в одну из статуй на шпалерах и, как бы ни к кому не обращаясь, но тем не менее вслух, произносил:

– Видит Бог, я в себе не волен: я уже съел изрядный кусок этого пудинга, но он так вкусен, что мне приходится просить у нашей щедрой хозяйки еще кусочек!

При этом он лукаво поглядывал на консульшу. Он беседовал с консулом о делах и о политике, высказывая серьезные и дельные суждения; болтал с консульшей о театре, о приемах в обществе и о туалетах; у него нашлось приветливое слово для Тома, Христиана, для бедной Клотильды, даже для маленькой Клары и для мамзель Юнгман. Тони молчала, и он не пытался заговаривать с нею, а только время от времени, склонив набок голову, смотрел на нее, и взор его выражал горечь и надежду.

Господин Грюнлих откланялся, оставив по себе впечатление еще более выгодное, чем в свой первый визит.

– Он очень хорошо воспитан, – сказала консульша.

– И к тому же весьма почтенный человек и добрый христианин, – подтвердил консул.

Христиан с еще большим совершенством воспроизвел жесты г-на Грюнлиха и его манеру говорить, а Тони, мрачно нахмутив брови, пожелала всем доброй ночи. Ее тяготило смутное предчувствие, что она отнюдь не в последний раз видит этого господина, сумевшего столь быстро покорить сердце ее родителей.

И правда, вернувшись как-то вечером из гостей, она обнаружила, что г-н Грюнлих, удобно расположившись в ландшафтной, читает консульше «Веверлея» Вальтера Скотта, – надо отдать ему справедливость, с отличным произношением, ибо, путешествуя по надобностям своего «живого дела», он частенько, по его словам, бывал и в Англии. Тони уселась в сторонке с другой книгой, и г-н Грюнлих кратко обратился к ней:

– То, что я читаю, вам, видимо, не по вкусу, мадемуазель?

На что Тони все так же колко и саркастически ответила нечто вроде:

– Да, нимало.

Он не смутился и начал рассказывать о своих безвременно скончавшихся родителях. Отца своего, проповедника и пастора, он охарактеризовал как человека, преисполненного христианских чувств, но в то же время и весьма светского.

Тем не менее г-н Грюнлих вскоре отбыл в Гамбург. Тони не было дома во время его прощального визита.

– Ида, – сказала Тони мамзель Юнгман, поверенной всех ее тайн, – этот человек уехал!

На что Ида ответила:

– Вот посмотришь, деточка, он еще вернется.

Неделю спустя в маленькой столовой разыгралась следующая сцена: Тони спустилась вниз в девять часов утра и была очень удивлена, застав отца еще сидящим за столом вместе с консульшей. Она подставила родителям лоб для поцелуя, уселась на свое место, свежая, проголодавшаяся, с сонными еще глазами, положила сахар в кофе, намазала маслом хлеб, придвинула к себе зеленый сыр.

– Как хорошо, папа, что я застала тебя! – проговорила она, обертывая салфеткой горячее яйцо и стуча по нему ложечкой.

– Я сегодня решил дожидаться нашей сонливицы, – отвечал консул.

Он курил сигару и непрерывно похлопывал по столу свернутой газетой.

Консульша неторопливо закончила свой завтрак и грациозно откинулась на спинку стула.

– Тильда уже хлопочет на кухне, – многозначительно продолжал консул, – и я тоже давно принялся бы за работу, если бы нам, твоей матери и мне, не нужно было обсудить с нашей дочкой один серьезный вопрос.

Тони, прожевывая бутерброд, посмотрела на отца и потом перевела взгляд на мать со смешанным чувством испуга и любопытства.

– Поешь сперва, дитя мое, – сказала консульша.

Но Тони, вопреки ее совету, положила нож и воскликнула:

– Только, ради Бога, не томи меня, папа!

Консул, по-прежнему хлопая по столу газетой, повторил за женой:

– Ешь, ешь!

Тони в молчании и уже без всякого аппетита допивала кофе и доедала яйцо и хлеб с сыром, – она начала подозревать, о чем будет речь. Краска сбегала с ее лица, она побледнела, решительно отказалась от меда и тут же тихим голосом объявила, что уже сыта.

– Милое дитя мое, – начал консул после нескольких секунд молчания, – дело, которое мы хотели обсудить с тобой, изложено вот в этом письме. – И он опять хлопнул по столу, но уже не газетой, а большим бледно-голубым конвертом. – Одним словом, господин Бендикс Грюнлих, которого мы все считаем весьма достойным и приятным молодым человеком, пишет мне, что за время своего пребывания здесь он проникся самыми нежными чувствами к моей дочери и теперь официально просит ее руки. Что ты на это скажешь, дитя мое?

Тони, откинувшись на спинку стула и опустив голову, медленно вертела правой рукой серебряное кольцо от салфетки. Внезапно она подняла глаза, потемневшие, полные слез, и сдавленным голосом крикнула:

– Что надо от меня этому человеку? Что я ему сделала? – и разрыдалась.

Консул бросил быстрый взгляд на жену и в замешательстве начал внимательно рассматривать свою уже пустую чашку.

– Дорогая моя, – мягко сказала консульша, – зачем горячиться? Ты ведь не сомневаешься, что родители желают тебе только блага, а потому-то мы и не можем советовать тебе отказаться от того положения в жизни, которое тебе сейчас предлагается. Я охотно верю, что ты не пита-

есть к господину Грюнлиху каких-либо определенных чувств, но это придет со временем, – смею тебя уверить, придет. Такое юное создание, как ты, не сознает, чего ему, собственно, надо... В голове у тебя такой же сумбур, как и в сердце... Сердцу надо дать время, а тебе следует прислушаться к советам опытных людей, пекущихся только о твоём счастье.

– Да я ровно ничего о нем не знаю, – прервала ее вконец расстроенная Тони и прижала к глазам батистовую салфетку с пятнышками от яиц. – Я знаю только, что у него золотисто-желтые бакенбарды и «живое дело»... – Верхняя ее губка, вздрагивавшая от всхлипываний, производила невыразимо трогательное впечатление.

Консул во внезапном порыве нежности пододвинул свой стул поближе к ней и, улыбаясь, стал гладить ее по волосам.

– Дочурка моя, – проговорил он, – что же тебе и знать о нем? Ты еще дитя, и проживи он здесь не месяц, а целый год, ты бы узнала о нем не больше... Девушка твоих лет не разбирается в жизни и должна полагаться на суждение зрелых людей, которые желают ей добра.

– Я не понимаю... не понимаю... – всхлипывала Тони и, как кошечка, терлась головой об ласкающую ее руку. – Он является сюда... Говорит всем все самое приятное... уезжает... И потом вдруг пишет, что хочет на мне... Почему он такое надумал? Что я ему сделала?

Консул снова улыбнулся.

– То, что ты второй раз говоришь это, Тони, только доказывает, какое ты еще дитя. Но моя дочурка никак не должна думать, что я собираюсь принуждать, мучить ее... Все это можно и должно обдумать и взвесить на досуге, ибо шаг это серьезный. В таком духе я и отвечу пока что господину Грюнлиху, не отклоняя, но и не принимая его предложения. Надо еще о многом поразмыслить... Ну, так? Решено? А теперь папе пора и на работу... До свидания, Бетси.

– До свидания, мой милый Жан.

– Я все-таки рекомендую тебе взять немножко меду, Тони, – сказала консульша, оставшись наедине с дочерью, которая сидела все так же неподвижно, опустив голову. – Кушать надо как следует.

Мало-помалу глаза Тони высохли. Мысли беспорядочно теснились в ее пылающей голове.

«Господи! Вот так история!» Конечно, она знала, что рано или поздно станет женой коммерсанта, вступит в добропорядочный, выгодный брак, который не посрамит достоинства ее семьи и фирмы Будденброк. Но сейчас-то ведь впервые кто-то по правде, всерьез хочет на ней жениться! Как следует вести себя при такой okazji? Подумать только, что теперь к ней, к Тони Будденброк, относятся все эти до ужаса весомые слова, которые она раньше только читала в книжках: «дала согласие», «просил руки», «до конца дней»... Бог мой! Все это так ново и так внезапно!

– А ты, мама? – проговорила она. – Ты, значит, тоже советуешь мне... дать согласие? – Она на мгновение запнулась, слово «согласие» показалось ей чересчур высокопарным, неудобопроизносимым, но она все же выговорила его, и даже с большим достоинством. Она уже немного стыдилась своей первоначальной растерянности. Брак с г-ном Грюнлихом казался ей теперь не меньшей нелепостью, чем десять минут назад, но сознание важности нового своего положения преисполняло ее гордостью.

Консульша сказала:

– Что я могу советовать, дитя мое? Разве папа тебе советовал? Он только не отговаривал тебя. Ибо с его стороны, да и с моей тоже, это было бы безответственно. Союз, предложенный тебе, милая Тони, в полном смысле то, что называется хорошая партия... У тебя будут все возможности, переехав в Гамбург, зажить там на широкую ногу...

Тони сидела неподвижно. Перед ее внутренним взором промелькнуло нечто вроде шелковых портьер – таких, какие она видела в гостиной у стариков Крегеров... Будет ли она в качестве мадам Грюнлих пить шоколад по утрам? Спрашивать об этом как-то неудобно.

– Как уже сказал отец, у тебя есть время все обдумать, – продолжала консульша. – Но мы должны обратить твоё внимание на то, что подобный случай устроить своё счастье представляется не каждый день. Этот брак в точности соответствовал бы тому, что предписывают тебе твой долг и твоё предназначение. Да, дитя моё, об этом я обязана тебе напомнить. Путь, который сегодня открылся перед тобой, и есть предначертанный тебе путь. Впрочем, ты это и сама знаешь...

– Да, – задумчиво отвечала Тони. – Конечно. – Она отлично понимала свои обязанности по отношению к семье и к фирме, более того – гордилась ими. Она, Антония Будденброк, перед которой грузчик Маттисен снимал свой шершавый цилиндр, она, дочка консула Будденброка, словно маленькая королева разгуливавшая по городу, назубок знала историю своей семьи.

Уже портной в Ростокe жил в отличном достатке, а с тех пор Будденброки все шли и шли в гору. Её предназначение состояло в том, чтобы, вступив в выгодный и достойный брак, способствовать блеску семьи и фирмы. Том с этой же целью работал в конторе. Партия, которую ей предлагают, как ни взгляни, весьма подходящая. Но г-н Грюнлих!.. Ей казалось, что она видит, как он семенит ей навстречу, видит его золотисто-желтые бакенбарды, розовое улыбающееся лицо и бородавку около носа. Она ощущала ворсистое сукно его костюма, слышала его вкрадчивый голос...

– Я знала, – заметила консульша, – что мы сумеем прислушаться к спокойному голосу разума... Может быть, мы уже и приняли решение?

– О, Боже упаси! – вскричала Тони, вложив в этот возглас все своё возмущение. – Какая нелепость – выйти замуж за Грюнлиха! Я все время донимала его колкостями... Непонятно, как он вообще ещё меня терпит! Надо же иметь хоть немного самолюбия...

И она принялась намазывать мед на ломтик домашнего хлеба.

Глава третья

В этом году Будденброки никуда не уехали, даже во время каникул Христиана и Клары. Консул заявил, что его «не пускают дела»; кроме того, неразрешенный вопрос относительно Антонии удерживал все семейство на Менгштрассе. Г-ну Грюнлиху было отправлено в высшей степени дипломатическое послание, написанное консулом; дальнейший ход событий задерживался упорством Тони, проявлявшимся в самых ребяческих формах: «Боже меня упаси, мама», – говорила она или: «Да я его попросту не выношу». Последнее слово она произносила, четко скандируя слоги. А не то торжественно заявляла: «Отец (во всех других случаях она звала консула «папа»), я никогда не дам ему своего согласия».

Все бы так и застряло на этой точке, если бы дней через десять, то есть как раз в середине июля, после объяснения родителей с дочкой в малой столовой, не произошло новое событие.

День уже клонился к вечеру, теплый, ясный день. Консультша куда-то ушла, и Тони с романом в руках в одиночестве сидела у окна ландшафтной, когда Антон подал ей карточку. И прежде чем она успела прочитать имя, стоявшее на ней, в комнату вошел некто в сборчатом сюртуке и гороховых панталонах. Само собой разумеется, это был г-н Грюнлих; лицо его выражало мольбу и нежность.

Тони в ужасе подскочила на стуле и сделала движение, точно намеревалась спастись бегством в большую столовую. Ну как прикажете разговаривать с человеком, который сделал ей предложение? Сердце отчаянно колотилось у нее в груди, лицо покрылось бледностью. Покуда г-н Грюнлих находился вдали, серьезные разговоры с родителями и внезапная значительность, приобретенная ее собственной персоной, которой надлежало принять важное решение, очень занимали Тони. Но вот он опять здесь! Стоит перед ней! Что будет? Она чувствовала, что готова заплакать. Г-н Грюнлих направлялся к ней, растопырив руки и склонив голову набок, как человек, собирающийся сказать: «Вот, я перед тобой! Убей меня, если хочешь».

– Это судьба! – воскликнул он. – Вы первая, кого я вижу здесь, Антония! – Да, так он и сказал: «Антония»!

Тони застыла с книгой в руках, потом выпатила губки и, сопровождая каждое свое слово кивком головы снизу вверх, в негодовании крикнула:

– Да... как... вы... смеее!

Но слезы уже душили ее.

Господин Грюнлих был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на этот возглас.

– Разве я мог еще дожидаться?... Разве я не должен был вернуться сюда? – проникновенным голосом спрашивал он. – На прошлой неделе я получил письмо от вашего папеньки, – письмо, которое окрылило меня надеждой. Так мог ли я еще дольше пребывать в состоянии неполной уверенности, мадемуазель Антония? Я не выдержал... Вскочил в экипаж и помчался сюда... Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург»... Я приехал, Антония, чтобы из ваших уст услышать последнее, решающее слово, которое сделает меня несказанно счастливым!

Тони остолбенела от изумления; слезы высохли у нее на глазах. Так вот чем обернулось дипломатическое послание консула, которое должно было отложить всякое решение на неопределенный срок! Она пробормотала подряд раза три или четыре:

– Вы ошибаетесь... Вы ошибаетесь!

Господин Грюнлих пододвинул одно из кресел вплотную к ее стулу у окна, уселся, заставил Тони опуститься на место, наклонился и, держа в своих руках ее помертвевшую руку, продолжал взволнованным голосом:

– Мадемуазель Антония... С первого мгновения, с того самого вечера... Вы помните этот вечер?... Когда я впервые увидел вас в кругу семьи... ваш облик, такой благородный, такой ска-

зочно прелестный, навек вселился в мое сердце... – Он поправился и сказал: «внедрился». – С того мгновения, мадемуазель Антония, моим единственным страстным желанием стало: завладеть вашей прекрасной рукой. Так претворите же в счастливую уверенность ту надежду, которую подало мне письмо вашего папеньки. Правда? Я ведь могу рассчитывать на взаимность?... Могу быть уверен в ней? – С этими словами он сжал ее руку и заглянул в ее широко раскрытые глаза. Сегодня он явился без перчаток; руки у него были белые, с длинными пальцами и вздутыми синеватыми жилами.

Тони в упор смотрела на его розовое лицо, на бородавку возле носа, на глаза, тускло-голубые, как у гуся.

– Нет, нет, – испуганно и торопливо забормотала она. И добавила: – Я не даю вам согласия!

Она старалась сохранить твердость, но уже плакала.

– Чем заслужил я эти сомнения, эту нерешительность? – спросил он упавшим голосом, почти с упреком. – Вы избалованы нежной заботой, любовным попечением... Но клянусь вам, заверяю вас честным словом мужчины, что я буду вас на руках носить, что, став моей женой, вы ничего не лишитесь, что в Гамбурге вы будете вести достойную вас жизнь...

Тони вскочила, высвободила руку и, заливаясь слезами, в отчаянии крикнула:

– Нет, нет! Я же сказала: нет! Я вам отказала! Боже милостивый, неужто вы этого не понимаете?

Тут уж и г-н Грюнлих поднялся с места. Он отступил на шаг, растопырил руки и произнес решительным тоном человека, оскорбленного в своих лучших чувствах:

– Разрешите заметить вам, мадемуазель Будденброк, что я не могу позволить оскорблять себя подобным образом.

– Но я нисколько не оскорбляю вас, господин Грюнлих, – отвечала Тони, уже раскаиваясь в своей горячности. О Господи, и надо же, чтобы все это случилось именно с ней! Она не ожидала столь настойчивых домогательств и думала, что достаточно сказать: «Ваше предложение делает мне честь, но я не могу принять его», чтобы разговор более не возобновлялся.

– Ваше предложение делает мне честь, – произнесла она, стараясь казаться спокойной, – но я не могу принять его... А теперь я должна... должна вас оставить. Простите, у меня больше нет времени!

Господин Грюнлих преградил ей дорогу.

– Вы отвергаете меня? – беззвучно спросил он.

– Да, – ответила Тони и из учтивости добавила: – К сожалению.

Тут г-н Грюнлих громко вздохнул, отступил на два шага назад, склонил туловище вбок, ткнул пальцем вниз – в ковер – и вскричал страшным голосом:

– Антония!

Несколько мгновений они так и стояли друг против друга: он в позе гневной и повелительной, Тони бледная, заплаканная, дрожащая, прижав к губам взмокший платочек. Наконец он отвернулся и, заложив руки за спину, дважды прошелся по комнате – как у себя дома! – затем остановился у окна, вглядываясь в сгущающиеся сумерки.

Тони медленно и осторожно направилась к застекленной двери, но не успела дойти и до середины комнаты, как г-н Грюнлих вновь очутился подле нее.

– Тони, – почти шепотом проговорил он, тихонько дотрагиваясь до ее руки, и опустился, медленно опустился перед ней на колени; его золотисто-желтые бакенбарды коснулись ее ладони. – Тони, – повторил он, – вот до чего вы меня довели!.. Есть у вас сердце в груди, живое, трепетное сердце? Тогда выслушайте меня... Перед вами человек, обреченный на гибель! Человек, который будет уничтожен, если... человек, который умрет от горя, – вдруг спохватился он, – если вы отвергнете его любовь! Я у ваших ног... Достанет ли у вас духа сказать: вы мне отвратительны?

– Нет, нет!

Тони неожиданно заговорила успокаивающим голосом. Она уже не плакала больше, чувство растроганности и сострадания охватило ее. Бог мой, как же он ее любит, если эта история, на которую она смотрела равнодушно, даже как-то со стороны, довела его до такого состояния! Возможно ли, что и ей пришлось пережить подобное? В романах Тони читала о таких чувствах. А теперь вот, в жизни, господин в сюртуке стоит перед ней на коленях и умоляет ее!.. Мысль выйти за него замуж казалась ей нелепой, ибо она находила его смешным... Но в это мгновение... право же, ничего смешного в нем не было! Его голос, его лицо выражали столь непритворный страх, столь пламенную и отчаянную мольбу.

– Нет, нет! – потрясенная, говорила она, склоняясь над ним. – Вы мне не отвратительны, господин Грюнлих. Как вы могли это подумать! Встаньте, пожалуйста, встаньте!..

– Так вы не казните меня? – спросил он.

И она опять отвечала успокаивающим, почти материнским тоном:

– Нет, нет!

– Вы согласны! – крикнул г-н Грюнлих и вскочил на ноги, но, заметив испуганное движение Тони, снова опустился на колени, боязливо заклиная ее: – Хорошо, хорошо! Не говорите больше ни слова, Антония! Не надо сейчас, не надо... Мы после поговорим... в другой раз... А теперь прощайте... Я еще приду, прощайте!

Он вскочил на ноги, рывком сдернул со стола свою большую серую шляпу, поцеловал руку Тони и выбежал через застекленную дверь.

Тони видела, как он схватил в ротонде свою трость и скрылся в коридоре. Она стояла посреди комнаты, обессиленная, в полном смятении, с мокрым платочком в беспомощно опущенной руке.

Глава четвертая

Консул Будденброк говорил жене:

– Если бы я мог предположить, что у Тони имеются какие-то тайные причины не соглашаться на этот брак! Но она ребенок, Бетси, она любит развлечения, до упаду танцует на балах, принимает ухаживания молодых людей отнюдь не без удовольствия, так как знает, что она красива, из хорошей семьи... Может быть, втайне, бессознательно, она и ищет чего-то... Но я ведь вижу, что она, как говорится, еще и сама не знает своего сердца... Спроси ее, и она начнет придумывать то одно, то другое... но назвать ей некого. Она дитя, птенец, у нее ветер в голове... Согласись она на его предложение – это будет значить, что ее место в жизни уже определено; у нее будет возможность устроить дом на широкую ногу, а этого ей очень и очень хочется. И не пройдет и нескольких дней, как она полюбит мужа... Он не красавец... видит Бог, совсем не красавец... Но все же весьма представительен, а ведь в конце концов где они, эти овцы о пяти ногах?.. Ты уж прости мне этот купеческий жаргон!.. Если она хочет ждать, пока явится какой-нибудь красавец и вдобавок выгодный жених, – что ж, Бог в помощь! Тони Будденброк, конечно, без женихов не останется. Хотя, с другой стороны, есть все-таки риск. Ведь опять-таки, выражаясь купеческим языком, рыбы в море полно, да сеть порой пустая бывает... Вчера утром я имел длительное собеседование с Грюнлихом – он и не думает отступаться. Я смотрел его конторские книги... Он мне их принес. Книги, скажу тебе, Бетси, просто загляденье! Я выразил ему свое живейшее удовольствие! Дело у него хоть и молодое, но идет отлично. Капитал – сто двадцать тысяч талеров. Но это, надо думать, первоначальный: Грюнлих каждый год немало зарабатывает... Дюшаны, которых я запросил, тоже дают о нем самые утешительные сведения. Ничего точного о положении его дел они, правда, не знают, но он ведет жизнь джентльмена, вращается в лучшем обществе, а его предприятие, – им это известно из достоверных источников, – идет очень живо и широко разветвляется... То, что я разузнал у других гамбургцев, у некоего банкира Кессельмейера, например, тоже вполне меня удовлетворило. Короче говоря, ты и сама понимаешь, Бетси, что я всей душой хочу этого брака, который пойдет на пользу семье и фирме! Но, Господи, конечно, мне больно, что девочка попала в такое трудное положение! Ее осаждают со всех сторон, она ходит как в воду опущенная, от нее слова не добьешься. И тем не менее я не могу решиться попросту указать Грюнлиху на дверь... Ведь я уже не раз говорил тебе, Бетси: в последние годы дела наши не очень блестящи. Не то чтобы Господь Бог отвернулся от нас – нет, честный труд вознаграждается по заслугам. Дела идут потихоньку... увы, очень уж потихоньку. И то лишь потому, что я соблюдаю величайшую осторожность. Со времени смерти отца мы не приумножили капитала, или только очень незначительно. Да, времена сейчас не благоприятствуют коммерции. Словом, радости мало. Дочь наша уже взрослая, ей предоставляется возможность сделать партию, которую все считают выгодной и почтенной. Бог даст, так оно и будет! Ждать другого случая неблагоприятно, Бетси, очень неблагоприятно! Поговори с ней еще разок. Я сегодня всячески старался убедить ее.

Консул был прав. Тони находилась в очень тяжелом положении. Она уже не говорила «нет», но, бедная девочка, не в силах была выговорить и «да». Она и сама толком не понимала, что заставляет ее еще упорствовать.

Между тем ее то отводил в сторону отец для «серьезного разговора», то мать усаживала рядом с собой, помогаясь от нее окончательного решения. Дядю Готхольда и его семейство в это дело не посвящали, так как те всегда несколько насмешливо относились к родичам с Менгштрассе. Но даже Зеземи Вейхбротт проведала о сватовстве Грюнлиха и, как всегда четко выговаривая слова, подала Тони добрый совет; мамзель Юнгман тоже не преминула заметить: «Тони, деточка, что тебе расстраиваться, ты ведь останешься в высшем кругу». Не было случая, чтобы Тони, заглянув в милую ее сердцу штофную гостиную в доме у Городских ворот,

не услышала замечания старой мадам Крегер: «А *propos*³⁹, до меня дошли кое-какие слухи. Надеюсь, что ты будешь вести себя благоразумно, малютка...»

Как-то в воскресенье, когда Тони со всем своим семейством была в Мариенкирхе, пастор Келлинг так страстно и красноречиво толковал библейский текст о том, что жене надлежит оставить отца и мать своих и прилепиться к мужу, что под конец впал в ярость, уже не подобающую пастырю. Тони в ужасе подняла к нему глаза: не смотрит ли он именно на нее? Нет, слава Богу, его раскормленная физиономия была обращена в другую сторону; он проповедовал, обращаясь ко всей благоговейно внимавшей ему пастве. И все же было ясно, что это новая атака на нее и каждое его слово относится к ней и ни к кому другому.

– Юная женщина, почти ребенок, – гремел он, – еще не имеющая ни собственной воли, ни самостоятельного разума и все же противящаяся советам родителей, пекущихся о ее благе, – преступна, и Господь изрыгнет ее из уст своих...

При этом обороте, любезном сердцу пастора Келлинга, который он выкрикнул с великим воодушевлением, его пронзительный взгляд, сопровождаемый устрашающим мановением руки, и впрямь обратился на Тони. Она увидела, как отец, сидевший рядом с нею, слегка поднял руку, словно говоря: «Ну, ну! Потише...» И все же она теперь уже не сомневалась, что пастор Келлинг изрекал все это по наущению ее родителя. Тони сидела вся красная, втянув голову в плечи, – ей чудилось, что весь свет смотрит на нее, и в следующее воскресенье наотрез отказалась идти в церковь.

Она молча и уныло бродила по комнатам, редко смеялась, потеряла аппетит и временами вздыхала нестерпимо жалостно, словно борясь с какой-то навязчивой мыслью, и, вздохнув, грустно оглядывалась на тех, кто был подле нее. Не сострадать ей было невозможно. Она очень похудела и выглядела уже не такой свеженькой. Кончилось тем, что консул сказал:

– Дольше так продолжаться не может, Бетси! Девочка просто извелась. Ей надо на время уехать, успокоиться, собраться с мыслями. Вот увидишь, в конце концов она одумается. Мне вырваться не удастся, да и лето уже на исходе... Мы все можем спокойно остаться дома. Вчера ко мне случайно зашел старик Шварцкопф из Травемюнде; знаешь, Дидрих Шварцкопф, старший лоцман. Я перемолвился с ним несколькими словами, и он с удовольствием согласился на время приютить девочку у себя. Расходы я ему, конечно, возмещу... Там она устроится по-домашнему, будет купаться, дышать морским воздухом и, без сомнения, придет в себя. Том отвезет ее; это самый лучший выход, и не надо откладывать его в долгий ящик.

Тони с радостью согласилась на это предложение. Хотя она почти не видела г-на Грюнлиха, но знала, что он здесь, ведет переговоры с ее родителями и ждет. Боже мой, ведь он в любой момент может предстать перед ней, поднять крик, умолять ее. В Травемюнде, в чужом доме, она по крайней мере будет в безопасности. Итак, в последних числах июля Тони торопливо и даже весело упаковала чемодан, уселась вместе с Томом, которого послали сопровождать ее, в величественный крегеровский экипаж, весело распрощалась с домашними и, облегченно вздохнув, покатила за Городские ворота.

³⁹ Между прочим (*фр.*).

Глава пятая

Дорога на Травемюнде идет напрямик до парома через реку, да и дальше опять никуда не сворачивает. Том и Тони знали ее вдоль и поперек. Серое шоссе быстро мелькало под глухо и равномерно цокающими копытами раскормленных мекленбургских гнедых Лебрехта Крегера; солнце пекло неимоверно, и пыль заволакивала неприхотливый пейзаж. Будденброки, в виде исключения, пообедали в час дня, а ровно в два брат и сестра выехали из дому, рассчитывая к четырем быть на месте, – ибо если наемному экипажу требовалось три часа на эту поездку, то крегеровский кучер Иохен был достаточно самолюбив, чтобы проделать весь путь за два.

Тони, одетая в зеленовато-серое изящное и простое платье, в мечтательной полудремоте кивала головой, затененной большой плоской соломенной шляпой; раскрытый зонтик того же зеленовато-серого цвета с отделкой из кремовых кружев она прислонила к откиннутому верху коляски.

Словно созданная для катанья в экипаже, она сидела в непринужденной позе, слегка откинувшись на спинку сиденья и грациозно скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой.

Том, уже двадцатилетний молодой человек, в хорошо сидящем серовато-синем костюме, сдвинув со лба соломенную шляпу, курил одну за другой русские папиросы. Он выглядел еще не совсем взрослым, но усы, более темные, чем волосы и ресницы, за последнее время у него очень распушились.

Слегка вскинув, по своей привычке, одну бровь, он вглядывался в клубы пыли и убегающие деревья по обочинам шоссе.

Тони сказала:

– Я еще никогда так не радовалась поездке в Травемюнде, как сейчас... Во-первых, по известным тебе причинам... ты, Том, пожалуйста, не насмешничай; конечно, мне хочется уехать еще на несколько миль подальше от неких золотисто-желтых бакенбард... Но главное – я ведь еду в совсем другое Травемюнде, возле самого моря, к Шварцкопфам... До курортного общества мне никакого дела не будет... Признаться, оно мне порядком наскучило, и меня совсем к нему не тянет... Не говоря уже о том, что этот человек знает там все ходы и выходы. В один прекрасный день он, нимало не церемонясь, мог бы появиться возле меня со своей неизменной улыбкой.

Том бросил папиросу и взял другую из портсигара с искусно инкрустированной крышкой, на которой была изображена тройка и нападающая на нее стая волков, – подарок, полученный консулом от одного русского клиента. Том в последнее время пристрастился к этим тонким и крепким папиросам со светло-палевым мундштуком; он курил их в огромном количестве и усвоил себе скверную привычку втягивать дым глубоко в легкие, а затем, разговаривая, клубами выпускать его.

– Да, – согласился он, – тут ты права, парк в Травемюнде так и кишит гамбургцами... Консул Фриче, владелец курорта, сам ведь из Гамбурга... Папа говорит, что он делает сейчас крупнейшие обороты. Но если ты не будешь посещать парк, ты упustiшь много интересного... Я уверен, что Петер Дельман уже там; в эти месяцы он всегда уезжает из города. Его дело может ведь идти и само собой – ни шатко ни валко, разумеется. Смешно! Да... По воскресеньям, конечно, будет наезжать и дядя Юстус – подышать воздухом, а главное, поиграть в рулетку... Меллендорфы и Кистенмакеры, надо думать, уже прибыли туда в полном составе, Хагенштремы тоже...

– Еще бы! Без Сары Землингер нигде не обойдется!..

– Кстати, ее зовут Лаурой. Справедливость, друг мой, прежде всего!

– Конечно, и Юльхен с нею... Юльхен решила этим летом обручиться с Августом Меллендорфом и, уж будь покоен, на своем поставит. Тогда они окончательно утвердятся в обществе! Веришь, Том, я просто возмущена! Эти выскочки...

– Да полно тебе!.. Штрук и Хагенштрем очень выдвинулись в деловом мире, а это главное...

– Ну конечно! Но ни для кого не секрет, как они этого достигают... Лезут напролом, не соблюдая приличий... Дедушка говорил про Хинриха Хагенштрема: «У него и бык телится»... Да, да, я сама слыхала.

– Так это или не так, но не в этом суть. У кого деньги, тому и почет. А помолвка эта – дело весьма разумное. Юльхен станет мадам Меллендорф, Август получит выгодную должность.

– Ах, ты опять дразнишь меня, Том! Но все равно я презираю этих людей...

Том расхохотался:

– Презирай не презирай, а со счетов их не скинешь, это запомни. Папа недавно сказал: «Будущее принадлежит им»; тогда как те же Меллендорфы... Кроме всего прочего, они способные люди, эти Хагенштремы. Герман очень толково работает в деле, а Мориц, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончил школу. Сейчас он изучает право и, говорят, подает большие надежды.

– Пусть будет по-твоему... Но я, Том, по крайней мере рада, что не всем семьям приходится гнуть спину перед ними и что, например, мы, Будденброки, как-никак...

– Ну, пошла! – сказал Том. – А нам ведь, между прочим, тоже нечем хвастаться. В семье не без урода! – Он взглянул на широкую спину Иохена и понизил голос: – Одному Богу известно, что творится в делах у дяди Юстуса. Папа всегда качает головой, когда говорит о нем, а дедушке Крегеру пришлось раза два выручать его довольно крупными суммами... С нашими кузенами тоже не все обстоит как должно. Юрген хочет продолжать учение, а все никак не сдаст экзамена на аттестат зрелости. Что касается Якоба, то говорят, что у Дальбека в Гамбурге им очень недовольны. Ему вечно не хватает денег, хотя получает он их предостаточно. Если бастует дядя Юстус, то посылает тетя Розалия... Нет, по-моему, нам бросать камень не приходится. А если тебе охота тягаться с Хагенштремами, то изволь, выходи замуж за Грюнлиха!

– Не для того мы с тобой поехали, чтобы разговаривать на эту тему! Да, да, может быть, ты и прав, но сейчас я об этом думать не желаю. Я хочу забыть о нем. Сейчас мы едем к Шварцкопфам. Я ведь их, собственно, совсем не знаю. Приятные они люди?

– О, Дидрих Шварцкопф – парень хоть куда, – как он выражается о себе после пятого стакана грога. Он был как-то у нас в конторе, и оттуда мы вместе отправились в морской клуб... Насчет выпивки он не промах. Его отец родился на судне норвежской линии и потом на этой же линии сделался капитаном. Дидрих прошел хорошую школу, старший лоцман – ответственная должность и весьма прилично оплачивается. Он старый морской волк, но с дамами неизменно галантен. Погоди, он еще начнет за тобой ухаживать...

– Вот это мило! А жена?

– Жену его я не знаю; наверно, достойная женщина. У них есть сын. Когда я учился, он тоже был то ли в последнем, то ли в предпоследнем классе. Теперь он, наверно, студент... Смотри-ка, море! Еще какие-нибудь четверть часа...

Они проехали по аллее молодых буков, возле освещенного солнцем моря, тихого и мирного. Затем вдруг вынырнула желтая башня маяка, и глазам их открылась бухта, набережная, красные крыши городка и маленькая гавань с теснящимися на рейде парусниками. Они миновали несколько домов, оставили позади церковь, покатали по Первой линии, вытянувшейся вдоль реки, и остановились у хорошенького маленького домика с увитой виноградом верандой.

Старший лоцман Шварцкопф стоял у двери и, когда экипаж подъехал, снял с головы морскую фуражку. Это был коренастый, плотный мужчина с красным лицом, водянисто-голубыми глазами и бурой колючей бородой веером, от уха до уха обрамлявшей его лицо.

Его красный рот с толстой и гладко выбритой верхней губой, слегка искривленный, так как он держал в зубах деревянную трубку, хранил выражение достоинства и прямодушия. Под растянутым кителем с золотым шитьем сверкал белизною пикейный жилет. Лоцман стоял, широко расставив ноги и слегка выпятив живот.

– Право слово, мадемуазель, я за честь почитаю, что вы к нам пожаловали... – Он бережно высадил Тони из экипажа. – Господину Будденброку мое почтение! Папенька, надеюсь, в добром здравии и госпожа консулыша тоже?... Рад, душевно рад! Милости просим! Жена уже приготовила нам закусочку. Отправляйся-ка на заезжий двор к Педерсену, – сказал он кучеру, вносившему чемодан Тони. – Там уж накормят твоих лошадок! Вы ведь у нас переночуете, господин Будденброк? Как же так нет? Лошадям надо передохнуть, да и все равно вы не успеете засветло вернуться в город.

– О, да тут нисколько не хуже, чем в кургаузе, – объявила Тони четверть часа спустя, когда все уже пили кофе на веранде. – Какой дивный воздух! Даже водорослями пахнет! Я ужасно рада, что приехала в Травемюнде!

Между увитых зеленью столбиков веранды виднелась широкая, поблескивавшая на солнце река с лодками и многочисленными причалами; и дальше, на сильно выдавшейся в море Мекленбургской косе, – домик паромщика на так называемом «Привале». Большие чашки с синим ободком, похожие на миски, казались странно неуклюжими по сравнению с изящным старинным фарфором в доме на Менгштрассе, но весь стол, с букетом полевых цветов перед прибором Тони, выглядел очень заманчиво, тем более что голод после путешествия в экипаже уже давал себя знать.

– Мадемуазель надо хорошенько у нас поправиться, – сказала хозяйка. – А то в городе вы уж и с личика спали. Ну, да известно, какой в городе воздух, да еще всякие там балы...

Госпожа Шварцкопф, дочь пастора из Шлутура, с виду женщина лет пятидесяти, была на голову ниже Тони и довольно тщедушного сложения. Свои еще черные, аккуратно и гладко зачесанные волосы она подбирала в крупно сплетенную сетку. Одета она была в темно-коричневое платье с белым воротничком и такими же манжетами. Опрятная, ласковая и приветливая, она усердно потчевала гостей домашними булочками с изюмом из хлебницы в форме лодки, которая стояла посреди стола в окружении сливок, сахара, масла и сотового меда; края хлебницы были разукрашены бисерной бахромой – работа маленькой Меты. Сама Мета, благонаправная восьмилетняя девочка в клетчатом платьице, с белой, как лен, торчащей косичкой, сидела сейчас рядом с матерью.

Госпожа Шварцкопф сокрушалась из-за того, что комната, единственная, которую она могла предоставить госте, «такая простенькая». Тони уже побывала в ней, переодеваясь после дороги.

– Да нет, она премилая! Из окон видно море, что же может быть лучше? – отвечала Тони, макая в кофе четвертый ломтик булочки с изюмом. Том разговаривал со стариком о «Вуленвевере», который сейчас ремонтировался в городе.

В это время на веранду вошел молодой человек лет двадцати, с книгой под мышкой, он покраснел, быстро сдернул свою серую фетровую шляпу и застенчиво поклонился.

– А, сынок! – сказал лоцман. – Поздновато ты сегодня... – И представил: – Мой сын. – Он назвал какое-то имя, а какое. Тони не разобрала. – Учится на доктора и вот приехал провести у нас каникулы...

– Очень приятно, – произнесла Тони, как ее учили.

Том поднялся и пожал ему руку. Молодой Шварцкопф еще раз поклонился, положил книгу и, снова покраснев, уселся за стол.

Это был на редкость светлый блондин, среднего роста и довольно стройный. Чуть пробивающиеся усы, такие же бесцветные, как и коротко остриженные волосы на слегка удлиненном черепе, оставались почти незаметными, а кожа у него была необыкновенно белая, точно

фарфоровая, по малейшему поводу заливавшаяся алой краской. Его глаза, несколько более темные, чем у отца, отличались тем же не столько оживленным, сколько добродушно-испытующим выражением. Черты лица были пропорциональны и довольно приятны. Когда он начал есть, Тони заметила, что у него необыкновенно красивые зубы, ровные и блестящие, как отполированная слоновая кость. Одет он был в серую куртку с накладными карманами, приспособленную на спине.

– Прошу извинить меня за опоздание, – сказал он, выговаривая слова несколько тяжело-весно и медлительно. – Я был на взморье, зачитался и вовремя не посмотрел на часы. – Затем он стал молча есть и только иногда испытующе взглядывал на Тома и Тони.

Немного погодя, когда хозяйка опять начала усиленно потчевать Тони, он заметил:

– Сотовый мед вы можете кушать спокойно, фрейлейн Будденброк. Это натуральный продукт. Тут по крайней мере известно, что вводишь в организм... Вам надо хорошо питаться, здешний воздух очень изнурителен, он ускоряет обмен веществ. Если вы не будете хорошо питаться, то потеряете в весе. – У него была наивная и симпатичная манера во время разговора слегка наклонять голову и временами смотреть не на того, к кому он обращался.

Мать с нежностью прислушивалась к тому, что он говорит, и по лицу Тони старалась отгадать, какое впечатление производят на нее его слова. Но тут вмешался старик Шварцкопф:

– Ну, хватит из себя доктора строить, Бог с ним, с твоим обменом веществ!.. Мы его и знать не хотим!

Молодой человек в ответ рассмеялся, покраснел и скользнул взглядом по тарелке Тони.

Старший Шварцкопф несколько раз назвал сына по имени. Тони послышалось что-то вроде Моор или Морд, – старик так растягивал слова на нижненемецкий лад, что разобрать было невозможно.

После еды Дидрих Шварцкопф, расстегнув китель так, что снова открылся его белый жилет, и благодушно шурясь на солнце, закурил свою коротенькую трубку. То же самое сделал его сын, а Том опять принялся за свои папиросы. У обоих молодых людей завязался разговор о былых школьных временах, в котором и Тони приняла оживленное участие. Вспомнили, конечно, и г-на Штенгеля: «Тебе сказано было провести линию, а ты что сделал? Ты провел черту...» Жаль, что не приехал и Христиан, уж он бы сумел это показать в лицах!

Взглянув среди разговора на цветы, стоявшие подле Тони, Том вдруг заметил ей:

– Господин Грюнлих сказал бы: «Они чрезвычайно украшают стол!»

В ответ Тони, покраснев от злости, толкнула его в бок и испуганно показала глазами на молодого Шварцкопфа.

В этот день у Шварцкопфов и кофе пили позднее обыкновенного и за столом сидели дольше, чем всегда. Было половина седьмого; вдали над «Привалом» уже стали сгущаться сумерки, когда лоцман поднялся с места.

– Прошу прощения, – сказал он. – Мне надо еще побывать в лоцманском доме... Ужинаем мы, с вашего позволения, в восемь часов. Или сегодня позднее, Мета? А ты, – он снова буркнул какое-то имя, – слишком долго не рассиживайся... Пойди да займись своими скелетами... Мадемуазель Будденброк, верно, надобно разобрать вещи... Или, может, наши гости хотят прогуляться к морю? Так ты их не задерживай.

– Помилуй, Дидрих! Да почему же ему и не посидеть здесь? – с ласковым упреком воскликнула г-жа Шварцкопф. – А если молодые люди вздумают прогуляться к морю, так почему ему не пойти с ними? У него ведь каникулы, Дидрих. Неужто же мальчику и гостям-то порываться нельзя?..

Глава шестая

На следующее утро Тони проснулась в опрятной комнатке с мебелью, обитой веселым ситчиком, и сразу ощутила то радостное возбуждение, которое испытывает человек, открывая глаза на новом месте.

Она села на кровати, обхватила руками колени, тряхнула растрепавшимися волосами и, прищурившись на узкую ослепительную полосу дневного света, пробивавшуюся сквозь закрытые ставни, стала неторопливо припоминать все события вчерашнего дня.

О г-не Грюнлихе она почти позабыла. Город, омерзительная сцена в ландшафтной, настойчивые увещания родителей и пастора Келлинга – все это осталось далеко позади. Здесь она каждое утро будет просыпаться беззаботно... Шварцкопфы на редкость славные люди. Вчера за ужином был апельсиновый крушон, и все чокнулись за радостное совместное пребывание. Как было весело! Старик Шварцкопф потешал гостей разными морскими историями, а сын рассказывал о Геттингене, где он учится. Странно, она так до сих пор и не узнала его имени! Она внимательно прислушивалась, но за ужином никто его по имени не называл, а спросить, конечно, было неудобно. Тони мучительно раздумывала: «Господи, ну как же его зовут, этого юношу? Моор, Морд?» В общем, он очень понравился ей, этот самый Моор или Морд. Как он добродушно и хитро улыбался, когда, спрашивая воды, вместо слова «вода» называл две какие-то буквы и цифру, чем всякий раз выводил из себя старика Шварцкопфа. Это будто бы была химическая формула воды, но не здешней, потому что здешняя, трáвемюндовская, куда сложнее по составу. В ней, того и гляди, можно даже медузу обнаружить. Но у начальства свои собственные представления о пресной воде. Тут он снова получил нагоняй от отца за непочтительность к начальству. Фрау Шварцкопф все время поглядывала на Тони: не отразится ли на ее лице восхищение, а студент и вправду говорил очень интересно – весело и в то же время по-ученому. Кроме того, он всячески старался оказать ей внимание, этот молодой человек. Она пожаловалась, что во время еды у нее кровь приливает к голове, – наверно, она слишком полнокровна. И что же он на это сказал? Смерил ее испытующим взглядом и объявил, что если кровь приливает к височным артериям, то это еще не значит, что в голове слишком много крови, то есть, вернее, красных кровяных шариков. Не исключено даже, что Тони несколько малокровна.

Кукушка высунулась из резных часов на стене и закуковала высоким, звонким голоском. «Семь, восемь, девять, – отсчитала Тони, – пора вставать!» Она соскочила с кровати и запахнула ставни. Небо было не безоблачно, но солнце светило. За селением и башней маяка открывался широкий вид на слегка взволнованное море, справа ограниченное Мекленбургской косой; на всей его необозримой поверхности чередовались зеленые и синие полосы, сливавшиеся вдаль с туманным горизонтом.

«Позднее пойду купаться, – решила Тони, – но сначала надо хорошенько позавтракать, чтобы обмен веществ не вовсе изнурил меня...» Она улыбнулась и быстрыми, энергическими движениями стала умываться и совершать свой туалет.

Когда пробило половина десятого, Тони была уже совсем готова. Двери соседней комнаты, в которой ночевал Том, были открыты настежь, – он чуть свет уехал обратно в город. Даже здесь, в верхнем этаже, где помещались только спальни, стоял аромат кофе. Казалось, весь маленький домик был насквозь пропитан им; этот запах еще усилился, когда Тони спустилась по лестнице со сплошными деревянными перилами и пошла по светлому коридору мимо гостиной, столовой и рабочей комнаты старшего лоцмана. Свежая и сияющая, в белом пикейном платье, Тони вышла на веранду.

Госпожа Шварцкопф вдвоем с сыном сидели за столом, с которого уже была убрана почти вся посуда. На этот раз поверх коричневого платья она надела синий клетчатый фартук; около ее прибора стояла корзиночка с ключами.

– Вы уж не обессудьте, мадемуазель Будденброк, что мы вас не подождали, – сказала г-жа Шварцкопф. – Мы люди простые, поднимаемся рано. С утра хлопот не оберешься... Шварцкопф в конторе. Ну, да ведь мадемуазель не сердится? Правда?

Тони, в свою очередь, извинилась:

– Ради Бога, не думайте, что я всегда так долго сплю. Мне очень совестно, но вчерашний крешон...

Тут хозяйский сын рассмеялся. Он стоял у стола, держа в руке свою деревянную трубку. Перед ним лежала газета.

– Да, это вы во всем виноваты, – сказала Тони. – С добрым утром!.. Вы то и дело чокались со мной. И теперь я не заслуживаю ничего, кроме простывшего кофе. Мне уже давно следовало позавтракать и искупаться...

– Ну, для вас это было бы слишком рано; в семь часов вода еще холодная, всего одиннадцать градусов... После теплой постели она просто обжигает тело...

– А с чего вы взяли, monsieur, что я люблю купаться в теплой воде? – Тони села за стол. – О, вы даже позаботились, чтоб мой кофе не остыл, сударыня! Ну, налью-то уж я сама... Большое спасибо!

Госпожа Шварцкопф хозяйским глазом следила, чтобы гостя хорошенько ела.

– Ну, как спалось мадемуазель на новом месте? Ведь матрац-то у нас набит одной морской травой, мы люди простые!.. А теперь уж позвольте пожелать вам приятного аппетита и хорошего гуляния. Мадемуазель, наверно, встретит на взморье немало знакомых... Если угодно, мой сын вас проводит, мадемуазель. Прошу прощения, мне больше никак нельзя задерживаться, надобно присмотреть на кухне. У нас сегодня жареная колбаса, вот я и хочу приготовить ее повкуснее...

– Итак, я принимаюсь за сотовый мед, – сказала Тони, когда они остались вдвоем, – «тут по крайней мере известно, что вводишь в организм!»

Молодой Шварцкопф встал и положил свою трубочку на перила веранды.

– Курите, пожалуйста! Мне это нисколько не мешает. Дома, когда я сажусь завтракать, комната уже полна дыма от папиной сигары... Скажите-ка, – внезапно спросила она, – правда, что одно яйцо по питательности равно четверти фунта мяса?

Он жарко покраснел.

– Вам угодно потешаться надо мной, фрейлейн Будденброк? – спросил он, не зная, смеяться ему или сердиться. – Мне и так отец вчера вечером задал головомойку за умничанье и важничанье, как он выразился.

– Да ведь я спросила без всякой задней мысли! – Тони от смущения на миг даже перестала есть. – Важничанье? Бог с вами! Я так хочу что-то узнать... Ведь я же круглая невежда, честное слово! У Зеземи Вейхбротт я считалась отъявленной лентяйкой. А вы, по-моему, так много знаете... – И подумала про себя: «Важничанье? Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны: выбирает слова, желая понравиться, вполне понятно...»

– Ну да, в известной мере они равноценны, – сказал он, явно польщенный, – поскольку речь идет об определенных питательных веществах.

И они стали болтать – Тони, уписывая завтрак, а молодой Шварцкопф, продолжая курить свою трубочку, – о Зеземи Вейхбротт, о житье-бытье в ее пансионе, о подругах Тони – Герде Арнольдсен, которая теперь вернулась в Амстердам, и об Армгард фон Шиллинг, чей белый дом был виден со здешнего берега, – в ясную погоду, конечно.

Кончив есть и вытерев рот салфеткой, Тони спросила, указывая на газету:

– Есть что-нибудь новенькое?

Молодой Шварцкопф рассмеялся и покачал головой насмешливо и с сожалением:

– Да нет... Что здесь может быть нового? Ведь эти «Городские ведомости» – жалкий листок!

– Да неужели? А папа и мама всегда их выписывают.

– Ну, разумеется, – пробормотал он и залился краской. – Я ведь их тоже читаю, как видите, раз ничего другого нет под рукой. Но, по правде говоря, сообщения вроде того, что оптовый торговец и консул имярек собирается справлять серебряную свадьбу, не так-то уж захватывающе интересны! Да-да! Вы смеетесь?.. А вам следовало бы почитать и другие газеты, например «Гартунгские известия», выходящие в Кенигсберге, или «Рейнскую газету». В них найдется кое-что и поинтереснее! Что бы там ни говорил король прусский...

– А что он говорит?

– Да нет... К сожалению, при даме я этого повторить не могу. – Он снова покраснел. – Одним словом, он весьма немилостиво отзывался об этих газетах, – продолжал он с несколько деланной иронией, на мгновение неприятно поразившей Тони. – Они, видите ли, недостаточно почтительно пишут о правительстве, о дворянстве, о полах и о юнкерстве... и вдобавок умеют водить за нос цензуру.

– А вы? Вы тоже непочтительно отзываетесь о дворянстве?

– Я? – переспросил он и смешался.

Тони встала.

– Ну, об этом мы поговорим в другой раз. Что, если мне сейчас отправиться на взморье? Смотрите, как прояснилось. Сегодня уж дождя не будет. Ох, как хочется снова окунуться в море! Вы меня проводите?

Глава седьмая

Она надела свою большую соломенную шляпу и раскрыла зонтик, так как, несмотря на легкий морской ветерок, жара стояла немилосердная. Молодой Шварцкопф, в фетровой шляпе, с книгой под мышкой, шагал рядом и время от времени искоса на нее поглядывал. Пройдя Первую линию, они вошли в пустынный парк; в этот час солнце заливало все его розарии и усыпанные гравием дорожки. Напротив кургауза, кондитерской и двух швейцарских домиков, соединенных между собою каким-то длинным строением, безмолвствовала полускрытая в ельнике раковина для оркестра. Время близилось к полудню, и все еще были на взморье.

Они пересекли детскую площадку со скамейками и большими качелями, обогнули ванное заведение и медленно пошли по направлению к маяку. Солнце так накалило землю, что от нее подымался жгучий, пряный аромат клевера и других трав, и в этом пахучем воздухе с жужжанием вилась мошкара. Море шумело глухо и однообразно. Где-то вдали на нем вдруг появлялись и опять исчезали белые барашки.

– Что это у вас за книга? – любопытствовала Тони.

Молодой человек тотчас же, не глядя, перелистал ее.

– Ах, вам это будет неинтересно, фрейлейн Будденброк! Здесь все про кишки, кровь и болезни. Вот видите, на этой странице рассказывается об отеке легких. При этом заболевании легочные пузырьки наполняются такой водянистой жидкостью... Это очень опасное следствие воспаления легких. Если болезнь принимает дурной оборот, человеку становится невозможно дышать, и он умирает. И обо всем этом здесь говорится совершенно хладнокровно...

– Фу!.. Но, конечно, если хочешь быть доктором... Я похлопочу, чтобы со временем, когда доктор Грабов уйдет на покой, вы сделались у нас домашним врачом. Вот увидите!

– Весьма признателен!.. А можно поинтересоваться, что вы читаете, фрейлейн Будденброк?

– Вы знаете Гофмана? – спросила Тони.

– Этого с капельмейстером и золотым горшком? Что ж, очень мило. Но это – как бы вам сказать? – это все же дамское чтение. Мужчины в наши дни должны читать другое.

– Теперь я хочу задать вам один вопрос, – решила наконец Тони, пройдя еще несколько шагов. – Как, собственно, ваше имя? Мне ни разу не удалось его разобрать, и это даже начало меня сердить. Я все гадаю и гадаю...

– Гадаете, как меня зовут?

– Ну да! Ах, пожалуйста, не смущайте меня! Конечно, это не полагается спрашивать, но меня вдруг разобрало любопытство. Я знаю, что мне в жизни не понадобится ваше имя, но...

– Что ж, меня зовут Мортен, – сказал он и покраснел так, как еще ни разу не краснел до сих пор.

– Мортен... Красивое имя!

– Что ж в нем красивого?

– Ах, Боже мой, но ведь красивее же, чем Хинц или Кунц. В вашем имени есть что-то необычное, иностранное...

– У вас романтическая душа, фрейлейн Будденброк! Вы читались Гофмана... На самом деле все обстоит гораздо проще: мой дед был наполовину норвежец, его звали Мортен, по нему и меня окрестили Мортеном. Вот и все.

Тони, осторожно ступая, пробиралась через камыш, росший вдоль песчаного берега. Отсюда было уже рукой подать до деревянных павильончиков с коническими крышами; между этими павильончиками, ближе к воде, были расставлены плетеные кабинки, вокруг которых нежились на песке целые семейства. Дамы в синих пенсне для защиты глаз от солнца, с книж-

ками из местной библиотеки в руках, мужчины в светлых костюмах, от нечего делать рисующие тросточкой на песке, загорелые дети в больших соломенных шляпах; они возились в песке, рыли канавки, пекли пирожки в деревянных формочках, прокладывали туннели и бегали босиком по воде, пуская кораблики. Справа в море вдавалось деревянное здание купален.

– Сейчас мы наткнемся на меллендорфский павильон, – сказала Тони. – Давайте свернем немного в сторону.

– Охотно, но вы ведь все равно подойдете к ним. А я сяду вон там, на камнях.

– Сидеть с ними я не собираюсь, а поздороваться мне, конечно, придется. Да и то, скажу вам по совести, без всякого удовольствия. Я хочу, чтобы меня хоть здесь оставили в покое...

– В покое?

– Ну да, в покое...

– Знаете, фрейлейн Будденброк, я тоже хочу задать вам один вопрос... Но не сейчас, а как-нибудь при случае, на досуге. А пока разрешите откланяться. Я буду там, на камнях...

– А вы не хотите, чтобы я представила вас, господин Шварцкопф? – с важностью спросила Тони.

– Ох, нет, нет! – поспешно отказался Мортен. – Очень вам благодарен. Ведь я, знаете, им все равно чужой человек. Я пойду и посижу на камнях.

Мортен свернул вправо, к груде больших камней, омываемых морем, которые громоздились возле купален, а Тони направилась к довольно многолюдной компании, расположившейся вокруг одного из павильонов и состоявшей из семейств Меллендорфов, Хагенштремов, Кистенмакеров и Фритше.

За исключением консула Фритше, владельца курорта, и Петера Дельмана – *suitier*, здесь были только женщины и дети, так как день был будничным и большинство мужчин находилось в городе. Консул Фритше, пожилой человек с гладко выбритым тонким лицом, стоя в павильоне, наставлял подзорную трубу на виднеющийся вдаль парус. Петер Дельман, щеголявший круглой «шкиперской» бородкой, в широкополой соломенной шляпе на голове, болтал с дамами, которые лежали на расстеленных пледах или сидели в маленьких парусиновых креслицах. Среди них была сенаторша Меллендорф, урожденная Лангхальс, в ореоле растрепанных седых волос, небрежно игравшая своей лорнеткой, и г-жа Хагенштрем с дочерью Юльхен, все еще похожей на девочку, но уже, как и ее мать, носившей брильянты в ушах; консульша Кистенмакер с дочерьми и консульша Фритше, морщинистая низенькая дама в чепце, в качестве хозяйки курорта вечно обремененная всевозможными хлопотами. Всегда красная, усталая, она только и думала что о пикниках, детских балах, лотереях и катании под парусами. Несколько поодаль сидела ее компаньонка и чтица. У самой воды возились дети.

«Кистенмакер и сын» была входившая в моду виноторговая фирма, в последние годы начавшая оттеснять К.Ф. Кеппена. Оба сына Кистенмакера, Эдуард и Стефан, уже работали в отцовском деле.

Консул Дельман отнюдь не обладал теми изысканными манерами, которые отличали других *suitiers*, – Юстуса Крегера например; напротив, он даже похвалялся добродушной грубоватостью и в обществе, особенно дамском, позволял себе очень многое, учитывая свою репутацию шумливого, дерзкого и веселого оригинала. Однажды во время званого обеда у Будденброков, когда задержались с подачей какого-то блюда и хозяйка уже пришла в замешательство, а празднично сидевшие за столом гости начали испытывать некоторую неловкость, он восстановил общее веселье, крикнув на весь стол своим зычным голосом: «Я уж устал дожидаться, хозяйшечка!»

В настоящую минуту он рассказывал своим громким и грубым голосом довольно сомнительные анекдоты, обильно уснащенные нижненемецкими оборотами. Сенаторша Меллендорф, смеясь до слез, то и дело восклицала в изнеможении: «О Боже, господин консул, да замолчите вы хоть на минутку!»

Тони Будденброк была холодно встречена Хагенштремами и, напротив, очень сердечно всей остальной компанией. Даже консул Фритше оставил свое занятие и спустился с лесенки павильона: он не терял надежды, что Будденброки, хотя бы в следующем году, будут вновь способствовать процветанию его курорта.

– Ваш покорный слуга, мадемуазель! – воскликнул консул Дельман, стараясь как можно чище выговаривать слова, так как знал, что мадемуазель Будденброк не очень-то жалуется за распушенные манеры.

– Мадемуазель Будденброк!

– И вы здесь?

– Как приятно!

– А давно ли?

– Какой прелестный туалет!

– Где вы остановились?

– У Шварцкопфов?

– Как, у старшего лощмана?

– Оригинальная мысль!

– О да, это необыкновенно оригинально!

– Так вы живете в городе? – переспросил консул Фритше, стараясь ни единым словом не выдать своей досады.

– Надеюсь, вы не откажетесь принять участие в нашем ближайшем празднике? – осведомилась его супруга.

– И надолго вы в Травемюнде? – поинтересовалась другая дама.

– Вам не кажется, моя дорогая, что Будденброки держатся уж слишком аристократично? – шепнула г-жа Хагенштрем сенаторше Меллендорф...

– И вы еще даже не успели искупаться? – любопытствовала третья. – Кто еще из девиц не купался сегодня? Марихен, Юльхен, Луисхен? Ваши подруги, конечно, с удовольствием составят вам компанию, мадемуазель Антония...

Несколько молодых девушек вызвались идти с Тони, и Петер Дельман не отказал себе в удовольствии прогуляться с ними по нагретому солнцем песку.

– Помнишь, как мы с тобой ходили в школу? – обратилась Тони к Юльхен Хагенштрем.

– Н-да, и ты еще всегда строила из себя злюку, – снисходительно откликнулась Юльхен.

Они шли по узенькому деревянному настилу, ведущему к купальням, и когда поравнялись с камнями, на одном из которых сидел Мортен с книгой в руках, Тони издали быстро покивала ему головой.

– С кем это ты здороваешься, Тони? – спросила одна из девушек.

– Это молодой Шварцкопф, – отвечала Тони. – Он проводил меня сюда.

– Сын старшего лощмана? – переспросила Юльхен, и ее блестящие черные глаза так и впились в Мортена, который довольно меланхолично созерцал эту нарядную компанию.

Тони же громким голосом заявила:

– Как жаль, что здесь нет... ну хотя бы Августа Меллендорфа. В будни на взморье, наверно, отчаянная скука.

Глава восьмая

Так начались для Тони Будденброк эти летние дни, счастливые и быстролетные, каких она еще не знавала в Травемюнде. Ничто больше не угнетало ее, она расцвела, слова и движения ее стали по-прежнему резвы и беззаботны. Консул с удовлетворением смотрел на дочь, когда по воскресным дням приезжал в Травемюнде вместе с Томом и Христианом. В эти дни они обедали за табльдотом, слушали курортный оркестр, сидя за чашкой кофе под тентом кондитерской, смотрели на рулетку в курзале, вокруг которой толпилась веселящаяся публика, как, например, Юстус Кребер и Петер Дельман. Консул никогда не позволял себе играть.

Тони грелась на солнце, купалась, ела приправленную хреном жареную колбасу и совершала дальние прогулки с Мортеном: по прибрежному шоссе в соседнее селение и к «Храму моря», с высоты которого открывался далекий вид на море и сушу, или в рощицу на пригорке, позади курзала, где висел большой гонг, сзывавший гостей к табльдоту. А не то они садились в лодку и переезжали через Траву к «Привалу», где среди камней попадался янтарь.

Мортен был занимательным спутником, хотя все его речи отличались излишней пылкостью и нетерпимостью. По любому вопросу у него было наготове строгое и справедливое суждение, которое он и высказывал с достаточной откровенностью, – правда, сильно при этом краснея. Тони огорчалась и бранила его, когда он, неуклюже и гневно взмахнув рукой, объявлял всех дворян жалкими идиотами; но в то же время очень гордилась, что он чистосердечно и доверительно высказывал ей те свои взгляды, которые тщательно скрывал от родителей. Однажды он сказал:

– Ну, в это я вас должен посвятить. У меня в Геттингене есть скелет. Да-да, настоящий скелет, хоть кое-где и скрепленный проволокой; и я на него напялил полицейский мундир... Здорово, правда? Но только, ради Бога, ни слова моему отцу.

Разумеется, Тони встречалась временами на взморье или в парке со своими городскими знакомыми, и они увлекали ее на пикник или на прогулку по морю под парусами. В такие дни Мортен «сидел на камнях». Эти камни сразу же стали у них символическим понятием. «Сидеть на камнях» значило: быть в одиночестве и скучать. Когда погода стояла дождливая и серая пелена, куда ни глянь, окутывала море, так что оно сливалось с низко нависшими тучами и песок на взморье становился мокрым, а дороги и вовсе размывало, Тони говорила:

– Сегодня уж нам придется «сидеть на камнях», то есть я хочу сказать – на веранде или в гостиной. И единственное, что мне остается, – это слушать ваши студенческие песни, Мортен, хотя они мне ужас как надоели.

– Что ж, – отвечал Мортен, – посидим. Хотя, по правде говоря, когда сидишь с вами, так это уже не камни!..

При отце он, впрочем, от таких заявлений воздерживался, но матери несколько не стеснялся.

– Так-с, а теперь куда? – спрашивал старший лощман, когда Тони и Мортен одновременно поднимались из-за стола, торопясь уйти. – Далеко ли собрались, молодые люди?

– Фрейлейн Антония разрешила мне проводить ее к «Храму моря»!

– Вот как, разрешила! А скажи-ка мне, сынок мой, филиус, не лучше бы тебе пойти к себе в комнату и малость подзубрить эти самые... нервные узлы? Пока ты вернешься в Геттинген, ты все позабудешь...

Тут деликатно вмешивалась г-жа Шварцкопф:

– Но, Боже мой, Дидрих, почему бы и мальчику не прогуляться? Пусть идет, ведь у него каникулы! И потом – что ж, ему так и не иметь никакого удовольствия от общества нашей гостьи?

И они оба уходили. Они шли берегом у самой воды, где насыщенный влагой песок так тверд и гладок, что ходьба по нему несколько не утомляет, и где в изобилии рассыпаны мелкие белые ракушки, самые обыкновенные, но попадаются и крупные, продолговатые, переливчатые, как опал; а также желтовато-зеленые мокрые водоросли с полыми плодами, которые издают треск, если их раздавишь, и множество медуз – простых, цвета воды, и ядовито-красных или желтых – стоит наступить на такую во время купания, и тебе обожжет ногу.

– Хотите, я вам расскажу, какой глупышкой я была когда-то, – сказала Тони, – я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратненько раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарялись... ведь звезды-то должны были остаться! Как бы не так!... Придешь посмотреть, а там только большое мокрое пятно и пахнет прелыми водорослями.

Они шли, и у их ног мерно рокотали грядями набегающие волны, в лицо бил соленый свежий ветер – тот, что мчится из дальних стран вольно и безудержно, звоном наполняет уши, дурманит, вызывает головокружение... Они шли среди необъятной мирной тишины, наполненной равномерным гулом моря, тишины, которая любому шороху, близкому и дальнему, сообщает таинственную значительность.

Слева от них тянулись откосы из желтой глины и гальки, все в расселинах, за внезапными резкими выступами которых скрывались с глаз извивы берега. Почва под ногами становилась все каменистее, и они карабкались вверх, чтобы продолжать путь к «Храму моря» по отлогой тропинке среди кустарника. «Храмом моря» назывался круглый балаган с дощатыми стенами, внутри сплошь испещренными надписями, инициалами, сердечками, стихами... Тони и Мортен усаживались на узкую, грубо сколоченную скамеечку в одной из обращенных к морю загородок, остро пахнувших деревом, как и кабины купален.

В предвечерние часы здесь, наверху, стояла торжественная тишина. Только птицы перекликались между собой да шелест деревьев сливался с негромким рокотом простертого далеко внизу моря, где виднелись мачты какого-то судна. Укрывшись наконец от ветра, так долго свистевшего у них в ушах, Тони и Мортен вдруг ощутили тишину, настраивавшую на задумчивый лад.

Тони спросила:

– Это судно приближается или уходит?

– Что? – отозвался Мортен своим низким голосом. И, словно очнувшись от забытья, торопливо пояснил: – Уходит. Это «Бургомистр Стенбок», оно идет в Россию... Вот уж куда меня не тянет, – добавил он, помолчав. – Там все обстоит еще хуже, чем у нас.

– Так, – сказала Тони, – сейчас начнется поношение дворянства, я вижу это по вашему лицу, Мортен. Право же, это некрасиво. Знали вы хоть одного дворянина?

– Нет, – чуть ли не с возмущением крикнул Мортен, – Бог миловал!

– Вот видите! А я знавала! Правда, девушку – Армгард фон Шиллинг, вон оттуда; да я уж вам рассказывала о ней. Она была добрее, чем вы и чем я, несколько не кичилась своим «фон», ела итальянскую колбасу и вечно говорила о коровах...

– Бесспорно, исключения встречаются, фрейлейн Тони, – охотно согласился Мортен. – Но послушайте, вы барышня и смотрите на все с сугубо личной точки зрения. Вы знакомы с каким-то дворянином и объявляете: да он же превосходный человек! Но для того, чтобы осуждать их всех вкупе, не надо знать ни одного! Поймите, что здесь дело в принципе, в социальном устройстве... Как? Кому-то достаточно родиться на свет, чтобы уже стать избранным, почитаемым, иметь право с презрением смотреть на нас, грешных, ибо все наши заслуги не возведут нас на его высоту!

Мортен говорил с возмущением, наивным и добродушным; он даже попытался выразительно жестикулировать, но, убедившись, что это получается у него довольно неуклюже, оставил свою попытку. Однако он не замолчал. Сегодня он молчать не мог. Он сидел, наклонив-

пихнул вперед, засунув большой палец между пуговицами куртки, и старался придать задорное выражение своим добрым глазам.

– Мы, бюргеры, так называемое третье сословие, хотим, чтобы существовала только аристократия заслуги, мы больше не признаем тунеядствующего дворянства, отрицаем современную сословную иерархию... Мы хотим свободы и равенства, хотим, чтобы ни один человек не подчинялся другому и чтобы все были равны перед законом. Пора покончить с привилегиями и произволом! Все должны стать равноправными сынами государства. И так же как не существует более посредничества между Богом и мирянином, так и гражданин должен быть непосредственно связан со своим государством. Мы хотим свободы печати, промыслов, торговли... Хотим, чтобы люди, не зная никаких привилегий, знали бы только свободную конкуренцию и получали награду лишь по заслугам!.. Но мы связаны по рукам и ногам, у нас кляп во рту... Что я хотел сказать?.. Ах да, слушайте же! Четыре года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах и печати. Хороши законы! Они не позволяют ни в печати, ни с кафедры провозглашать истину, которая может быть истолкована как подрыв существующего строя... Вы понимаете? Правду подавляют, не дают ей вымолвить слова... А почему, спрашивается? В угоду идиотическому, устарелому, прогнившему строю, который – это ясно и ребенку – рано или поздно все равно будет свергнут... Мне кажется, вы не понимаете всей этой подлости! Ведь это насилие, тупое, грубое полицейское насилие, полнейшее непонимание духовных потребностей человека, требований времени... Нет, помимо всего, скажу только... Прусский король совершил величайшую несправедливость! В тринадцатом году, когда французы хозяйничали в нашем отечестве, он ко всем нам обратился и посулил конституцию... Мы пришли, мы освободили Германию...

Тони, которая сидела, подперев рукой подбородок, и искоса наблюдала за ним, на мгновение даже задумалась: уж не принимал ли он и сам участия в изгнании Наполеона?

– И как вы думаете, исполнил он свое обещание? Как бы не так! Нынешний король – краснбай, мечтатель, романтик... вроде вас, фрейлейн Тони! Заметьте себе одно обстоятельство: стоит философам, поэтам преодолеть и объявить устаревшей какую-нибудь истину или принцип, как король, только что до нее дошедший, объявляет таковую самоновейшей и наилучшей и считает нужным упорно ее держаться... Королевской власти так уж на роду написано. Имейте в виду, что короли не только люди, но еще и посредственные люди, и потому всегда плетутся в хвосте... Ах, с Германией вышло, как с тем студентом, который во времена освободительной войны был молод, смел, страстен, а теперь не более как жалкий филистер...

– Понятно, понятно, – подтвердила Тони. – Пусть так. Но позвольте спросить: вам-то какое до всего этого дело? Вы же не пруссак...

– Ах, не все ли равно, фрейлейн Будденброк! Да, я называю вас по фамилии и делаю это нарочно... Мне следовало бы даже сказать, мадемуазель Будденброк, в соответствии с вашим сословным положением. Разве у нас больше свободы, равенства, братства, чем в Пруссии? Что там, то и здесь: сословные перегородки, иерархия, аристократия... Вы симпатизируете дворянам? А хотите знать почему? Потому что вы сами аристократка. Да, да! А вы и не знали? Ваш отец – важная персона, а вы так и впрямь принцесса! Целая пропасть отделяет вас от таких, как я, не принадлежащих к избранному кругу правящих семейств. Вы можете, конечно, забавы ради прогуляться с одним из нас на взморье, но вы все равно вернетесь в свой круг избранных и привилегированных, и тогда наш брат... «сиди на камнях». – Его голос звучал до странности взволнованно.

– Вот видите, Мортен, – печально сказала Тони. – Значит, вы все-таки злились, когда сидели там, на камнях! Я же хотела вас представить...

– Повторяю, вы барышня и на все смотрите с очень уж личной точки зрения! Я говорю вообще... Я утверждаю, что у нас не больше равенства и братства, чем в Пруссии... Если же говорить о личном, – продолжал он, помолчав и понизив голос, но все так же страстно и взвол-

нованно, – то я имею в виду не столько настоящее, сколько будущее... когда вы, в качестве мадам имярек, с головой уйдете в ваш избранный круг, а мне... мне до конца моих дней останется только «сидеть на камнях».

Он замолчал, и Тони не отвечала ему. Она смотрела в другую сторону, на дощатую стену. Несколько минут в «Храме моря» царил неловкое молчание.

– Вы, наверно, помните, – опять заговорил Мортен, – что я хотел задать вам один вопрос? Говоря откровенно, этот вопрос занимает меня с того самого дня, как вы сюда приехали... Не старайтесь отгадать, вы никакими силами не можете отгадать, что я скажу. Нет, я спрошу вас в другой раз, при случае. Торопиться с этим нечего, да, собственно, это меня вовсе не касается... Я просто так... из любопытства. Нет, сегодня я расскажу вам кое-что совсем другое... Вот смотрите! – С этими словами он извлек из кармана своей куртки узкую полосатую ленточку и с видом победоносным и выжидающим посмотрел Тони прямо в глаза.

– Хорошенькая, – наивно сказала она. – Это что-нибудь значит?

Мортен торжественно отвечал:

– Это значит, что в Геттингене я принадлежу к некоей корпорации... Ну, теперь вы все знаете! У меня есть и фуражка этих же цветов, но, уезжая сюда, я нахлобучил ее на скелет в полицейском мундире... Здесь мне все равно нельзя было бы в ней показаться. Понимаете? Могу я положиться на вашу скромность? Если отец об этом узнает, беды не миновать...

– Довольно, Мортен, вы же знаете, что на меня-то можно положиться. Но я никак не пойму... Что же – вы в заговоре против дворян? Чего вы, собственно, хотите?

– Мы хотим свободы, – отвечал Мортен.

– Свободы? – переспросила Тони.

– Да, свободы! Поймите – свободы! – повторил он и сделал несколько неопределенный и неловкий, но восторженно-воодушевленный жест – простер руку, потом опустил ее, указывая на море, но не туда, где бухту ограничивала Мекленбургская коса, а дальше, где начиналось открытое море, все в зеленых, синих, желтых, серых полосах, чем дальше, тем больше суживающихся, волнующееся, великолепное, необозримое и где-то, бесконечно далеко, сливающееся с блеклым горизонтом.

Тони взглянула в направлении, на которое указывал Мортен, и в то время как их руки, лежавшие рядом на грубо отесанной деревянной скамье, уже почти соприкоснулись, взгляды их дружно обратились вдаль. Они долго молчали. Море спокойно и мерно рокотало где-то там внизу, и Тони вдруг показалось, что она и Мортен слились воедино в понимании великого, неопределенного, полного упований и страсти слова «свобода».

Глава девятая

– Как странно, Мортен, у моря невозможно соскучиться. Попробуйте-ка полежать часа три или четыре на спине где-нибудь, ничего не делая, без единой мысли в голове...

– Верно, верно... Хотя, знаете, фрейлейн Тони, раньше я все-таки иногда скучал. Но это было с месяц назад...

Пришла осень, впервые подул резкий ветер. По небу торопливо неслись разорванные серые, жиденькие облака... Море, угрюмое, взлохмаченное, было, сколько глаз хватает, покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым и устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом обрушивались на песок.

Сезон кончился. Та часть берега, на которой обычно толпились приезжие, теперь казалась почти вымершей, многие павильоны были уже разобраны, и только кое-где еще стояли плетеные кабинки. Тем не менее Тони и Мортен предпочитали уходить подальше, к желтым глинистым откосам, где волны, ударяясь о «Камень чаек», высоко взметали свою пену. Мортен сгреб в кучу песок и накрепко утрамбовал его за спиной у Тони; она сидела на этом песчаном кресле, скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой, одетая в жакетку из мягкой серой материи, с большими пуговицами; Мортен лежал на боку, обернувшись к ней лицом и подперев рукой подбородок. Над морем время от времени проносилась с хищным криком чайка. Они смотрели на валы, словно поросшие водорослями, которые грозно приближались, чтобы разбиться в прах о торчащую из моря скалу с тем извечным неукротимым шумом, который оглушает человека, лишает его дара речи, убивает в нем чувство времени.

Наконец Мортен зашевелился и, словно заставив себя проснуться, спросил:

– Теперь вы, наверное, уже скоро уедете, фрейлейн Тони?

– Нет... Почему вы думаете? – рассеянно, почти бессознательно отвечала она.

– О Господи! Да ведь сегодня уже десятое сентября... Мои каникулы скоро кончаются... Сколько же это еще может продолжаться? Вы, верно, уже радуетесь началу сезона? Ведь вы любите танцевать с галантными кавалерами, правда? Ах, Бог мой, я совсем не то хотел спросить. Ответьте мне на другой вопрос. – Набираясь храбрости, он стал усиленно тереть подбородок. – Я уже давно откладываю... вы знаете что? Так вот! Кто такой господин Грюнлих?

Тони вздрогнула, в упор взглянула на Мортена, и в ее глазах появилось отсутствующее выражение, как у человека, которому вдруг вспомнился какой-то давний сон. Но так же мгновенно в ней ожило чувство, испытанное ею после сватовства г-на Грюнлиха, – сознание собственной значительности.

– Так вы это хотели узнать, Мортен? – серьезно спросила она. – Что ж, я вам отвечу. Поверьте, мне было очень неприятно, что Томас упомянул его имя при первом же нашем знакомстве. Но раз вы его уже слышали... Словом, господин Грюнлих, Бендикс Грюнлих, – это клиент моего отца, зажиточный коммерсант из Гамбурга. Он... просил моей руки... Да нет! – торопливо воскликнула она, как бы в ответ на движение Мортена. – Я ему отказала. Я не могла решиться навеки связать с ним свою жизнь.

– А почему, собственно, если мне будет позволено задать такой вопрос? – Мортен смеялся.

– Почему? О Господи, да потому, что я его терпеть не могу, – воскликнула она, почти негодуя. – Вы бы посмотрели, каков он на вид и как он вел себя! Кроме того, у него золотисто-желтые бакенбарды... Это же противоестественно! Я уверена, что он присыпает их порошком, которым золотят орехи на елку... К тому же он втируша... Он так подъезжал к моим родителям, так бесстыдно подпевал каждому их слову...

– Ну, а что значит... – перебил ее Мортен, – на это вы мне тоже должны ответить: что значит «они чрезвычайно украшают»?

Тони как-то нервно засмеялась.

– У него такая манера говорить, Мортен! Он никогда не скажет: «как это красиво», или: «как это приятно выглядит», а непременно: «чрезвычайно украшает»... Он просто смешон, уверяю вас! Кроме того, он нестерпимо назойлив. Он не отступался от меня, хотя я относилась к нему с нескрываемой иронией. Однажды он устроил мне сцену, причем чуть не плакал... Нет, вы только подумайте: мужчина – и плачет!..

– Он, верно, очень любит вас, – тихо сказал Мортен.

– Но мне-то до этого какое дело? – словно удивляясь, воскликнула Тони и круто повернулась на своем песчаном кресле.

– Вы жестоки, фрейлейн Тони! Вы всегда так жестоки? Скажите, вот вы терпеть не можете этого господина Грюнлиха, – но к кому-нибудь другому вы когда-нибудь относились с симпатией? Иногда я думаю: да, да, у нее холодное сердце. И вот еще что я должен вам сказать, и я могу поклясться, что это так: совсем не смешон тот мужчина, который плачет оттого, что вы его знать не хотите, уверяю вас. Я не поручусь, отнюдь не поручусь, что и я тоже... Вы избалованное, изнеженное существо! Неужели вы всегда насмехаетесь над людьми, которые лежат у ваших ног? Неужели у вас и вправду холодное сердце?

Веселое выражение сбежало с лица Тони, ее верхняя губка задрожала. Она подняла на него глаза, большие, грустные, наполненные слезами, и прошептала:

– Нет, Мортен, не надо так думать обо мне... Не надо!

– Да я и не думаю! – крикнул Мортен со смехом, взволнованным и в то же время ликующим. Перекатившись со спины на живот, он стремительно приблизился к ней, уперся локтями в песок, схватил обеими руками ее руку и стал восторженно и благоговейно смотреть ей в лицо своими серо-голубыми добрыми глазами. – И вы, вы не будете насмеяться надо мной, если я скажу, что...

– Я знаю, Мортен. – Она тихонько перебила его, не сводя глаз со своей руки, медленно пересыпавшей сквозь пальцы тонкий, почти белый песок.

– Вы знаете!.. И вы... фрейлейн Тони...

– Да, Мортен. Я верю в вас. И вы мне очень по душе. Больше, чем кто-либо из всех, кого я знаю.

Он вздрогнул, взмахнул руками – раз, второй, не зная, что ему сделать. Потом вскочил на ноги, снова бросился на песок подле Тони, крикнул голосом сдавленным, дрожащим, внезапно сорвавшимся и вновь зазвеневшим от счастья:

– Ах! Благодарю, благодарю вас! Поймите, я счастлив, как никогда в жизни! – И начал покрывать поцелуями ее руки.

Потом он сказал совсем тихо:

– Скоро вы уедете в город, Тони. А через две недели кончатся мои каникулы, и я вернусь в Геттинген. Но обещайте, что вы будете помнить этот день здесь, на взморье, пока я не вернусь уже доктором и не обращусь к вашему отцу насчет, насчет... нас обоих. Хотя это и будет мне очень трудно. А тем временем вы не станете слушать никаких Грюнлихов. Да? О, это все будет недолго, вот посмотрите! Я буду работать как... и... Ах, да это совсем нетрудно!

– Да, Мортен, да, – проговорила она блаженно и рассеянно, не отрывая взора от его глаз, губ и рук, держащих ее руки.

Он притянул ее руку еще ближе к своей груди и спросил глухим, умоляющим голосом:

– После того, что вы сказали... можно, можно мне... закрепить...

Она не отвечала, она даже не взглянула на него, только слегка подвинулась в его сторону на своем песчаном кресле. Мортен поцеловал ее в губы долгим, торжественным поцелуем. И оба они, застыдившись свыше меры, стали смотреть в разные стороны.

Глава десятая

«Дражайшая мадемуазель Будденброк!

Сколько уж времени прошло с тех пор, как нижеподписавшийся не видел вашего прелестного лица? Пусть же эти немногие строчки засвидетельствуют, что сие лицо неотступно стояло перед его духовным оком и что все эти долгие и тоскливые недели он неизменно вспоминал о драгоценных минутах в гостиной вашего родительского дома, где с ваших уст сорвалось обещание, еще не окончательное, робкое, но все же сулящее блаженство. Уже много времени прошло с тех пор, как вы удалились от мира, имея целью собраться с мыслями, сосредоточиться, почему я и смею надеяться, что срок искуса уже миновал. Итак, дражайшая мадемуазель, нижеподписавшийся позволяет себе почтительно приложить к письму колечко – залог его неувядаемой нежности. Со всенижайшим приветом, покрывая самыми горячими поцелуями ваши ручки, я остаюсь

вашего высокоблагородия покорнейшим слугой
Грюнлихом».

«Дорогой папа!

Бог ты мой, как я рассердилась! Прилагаемое письмо и кольцо я только что получила от Гр., от волнения у меня даже голова разболелась, и единственное, что я могла придумать, – это немедленно отослать тебе и то и другое. Грюнлих никак не хочет меня понять; того, что он так поэтично называет моим «обещанием», просто никогда не было; и я прошу тебя немедленно растолковать ему, что я теперь еще в тысячу раз меньше, нежели полтора месяца назад, могу помыслить о том, чтобы навеки связать себя с ним, и пусть он наконец оставит меня в покое, ведь он себя же выставляет в смешном свете. Тебе, добрейшему из отцов, я могу признаться, что я дала слово другому человеку, который любит меня и которого я люблю так, что словами и не скажешь! О, папа! О своей любви я могла бы исписать целый ворох листов! Я имею в виду г-на Мортена Шварцкопфа, который учится на врача и, как только получит докторскую степень, явится к тебе просить моей руки. Я знаю, что полагается выходить замуж за коммерсанта, но Мортен принадлежит к другому, очень уважаемому разряду людей, – к ученым. Он не богат, а я знаю, какое вы с мамой придаете значение деньгам, но на это, милый папа, как я ни молода, а скажу тебе: жизнь многих научала, что не в богатстве счастье. Тысячу раз целую тебя и остаюсь
твоей покорной дочерью Антонией.

P.S. Я сейчас разглядела, что кольцо из низкопробного золота и очень тонкое».

«Моя дорогая Тони!

Письмо твое я получил. В ответ на него сообщаю, что я почел своим долгом, разумеется, в подобающей форме, поставить г-на Грюнлиха в известность относительно твоей точки зрения, и результат поистине потряс меня. Ты взрослая девушка, и сейчас в твоей жизни настала пора, до такой степени серьезная, что я считаю себя вправе напомнить тебе о последствиях, которые может возыметь для тебя необдуманный шаг. От моих слов г-н

Грюнлих впал в беспредельное отчаяние и объявил, что если ты будешь упорствовать в своем решении, то он лишит себя жизни, так велика его любовь к тебе. Поскольку я не могу принять всерьез того, что ты пишешь относительно твоей склонности к другому, то прошу тебя умерить свое негодование по поводу присланного тебе кольца и еще раз как следует все взвесить. Мои христианские убеждения, дорогая моя дочь, подсказывают мне, что каждый человек должен уважать чувства другого. И кто знает, не придется ли тебе в свое время держать ответ перед Всевышним судьей за то, что человек, чьи чувства ты так жестоко и упорно отвергала, совершил великий грех самоубийства. Еще раз напоминаю тебе о том, что я уже не раз тебе говорил, и радуюсь возможности закрепить сказанное мною в письменной форме, ибо если изустная речь и воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то начертанное слово имеет другие преимущества: его выбираешь не спеша, не спеша наносишь на бумагу, и вот, запечатленное в той самой форме, в том самом месте, которое выбрал пишущий, оно обретает прочность, может быть не раз перечитано адресатом и потому в состоянии оказывать на последнего длительное, прочное воздействие. Мы, дорогая моя дочь, рождены не для того, что, по близорукости своей, склонны считать нашим маленьким, личным счастьем, ибо мы не свободные, не независимые, взброд живущие существа, но звенья единой цепи, немыслимые без долгой чреды тех, что предшествовали нам, указуя нам путь, – тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. Твой путь, думается мне, уже в течение добрых двух месяцев четко обозначен и ясно предопределен, и ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вздумала упорствовать в легкомысленном желании идти своим собственным, непроторенным путем. Все это, дорогая моя Антония, я и прошу тебя взвесить в сердце твоём.

Твоя мать, Томас, Христиан, Клара и Клотильда (она довольно долго прогостила у отца в «Неблагодатном»), а также мамзель Юнгман шлют тебе наисердечнейший поклон. Все мы с радостью готовимся вновь заключить тебя в свои объятия.

Горячо любящий тебя отец».

Глава одиннадцатая

Дождь лил без передышки. Земля, вода и небо точно смешались воедино.

Ветер налетал, злобно подхватывая косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. Жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Когда вскоре после обеда Мортен Шварцкопф с трубкой в зубах вышел на веранду посмотреть, что делается на небе, перед ним неожиданно вырос господин в длиннополом клетчатом ульстере⁴⁰ и серой шляпе. Возле дома стояла наемная коляска с блестящим от дождя поднятым верхом и сплошь облепленными грязью колесами. Мортен в изумлении уставился на розовое лицо незнакомца. Бакенбарды этого господина выглядели так, словно их присыпали порошком, которым золотят орехи для елки.

Господин в ульстере взглянул на Мортена, как смотрят разве что на слугу, то есть скользнул по нему невидящим взором, и бархатным голосом спросил:

– Могу я видеть господина старшего лоцмана?

– Ну конечно, – пробормотал Мортен. – Отец, если не ошибаюсь...

При этих словах господин в ульстере пристально взглянул на него мутно-голубыми, как у гуся, глазами.

– Вы господин Мортен Шварцкопф? – осведомился он.

– Да, я, – отвечал Мортен, сию же минуту придав своему лицу выражение спокойствия и уверенности.

– Ах, так. В самом деле... – начал было приезжий, но перебил себя: – Будьте любезны доложить обо мне вашему отцу, молодой человек! Моя фамилия Грюнлих.

Мортен провел г-на Грюнлиха через веранду в коридор, отворил перед ним дверь справа, которая вела в контору старшего лоцмана, и направился в гостиную доложить отцу о посетителе. Г-н Шварцкопф вышел, Мортен же сел возле круглого стола, уперся в него локтями и, не обращая ни малейшего внимания на мать, штопавшую чулки у помутненного окна, видимо, углубился в «жалкий листок», сообщавший разве что о серебряной свадьбе консула имярек. Тони отдыхала наверху в своей комнате.

Старший лоцман вошел в контору с выражением человека, который очень доволен только что съеденным обедом. Форменный сюртук его был расстегнут, так что виднелся белый жилет, плотно обтягивавший его основательное брюшко. Морская борода топорщилась вокруг его красного лица. Он проводил языком по зубам, отчего его рот принимал самые причудливые очертания. Поклонился он быстро, рывком, словно говоря: вот, смотрите, как надо кланяться.

– Честь имею, – произнес он. – Чем могу служить?

Господин Грюнлих, в свою очередь, отвесил чинный поклон, причем углы его рта слегка опустились. Потом негромко произнес:

– Хэ-эм!

«Конторой» называлась небольшая комната с побеленными вверху, а внизу обшитыми деревом стенами. Окно, о которое неумолчно барабанил дождь, было завешано насквозь прокуренными гардинами. Справа от двери стоял длинный некрашенный стол, сплошь заваленный бумагами, на стене над ним была приколотая большая карта Европы и поменьше – Балтийского моря. Посредине комнаты с потолка свешивалась тщательно сделанная модель судна с поднятыми парусами.

Старший лоцман указал гостю на диван напротив двери, обитый обтрепанной и растрескавшейся черной клеенкой. Сам он удобно уселся в деревянное кресло, тогда как г-н Грюнлих, в наглухо застегнутом ульстере, со шляпой на коленях, присел на самый краешек дивана.

⁴⁰ Ульстер – дорожное пальто (англ.).

– Повторяю, – сказал он, – моя фамилия Грюнлих, Грюнлих из Гамбурга. Чтобы вам было понятнее, добавлю, что я являюсь постоянным и давнишним клиентом оптового торговца консула Будденброка.

– А ля бонер! Весьма польщен! Не угодно ли вам расположиться поудобнее? Может быть, стаканчик грогу с дороги? Я сейчас прикажу.

– Позволю себе заметить, – спокойно проговорил г-н Грюнлих, – что у меня каждая минута на счету. Мой экипаж ждет, и потому я вынужден просить вас о наикратчайшей беседе.

– К вашим услугам, – повторил г-н Шварцкопф, несколько озадаченный.

Наступила пауза.

– Господин старший лоцман! – начал г-н Грюнлих, решительно мотнув головой и затем горделиво ее вскинув. Он помолчал, видимо, для того, чтобы сделать свое обращение более выразительным, и при этом так сжал губы, что его рот стал походить на кошелек, туго стянутый завязками. – Господин старший лоцман... – повторил он и потом вдруг выпалил: – Дело, приведшее меня сюда, касается одной молодой особы, уже более месяца проживающей у вас в доме.

– Мадемуазель Будденброк? – спросил г-н Шварцкопф.

– Совершенно верно, – почти беззвучно подтвердил г-н Грюнлих и поник головой, в углах рта у него залегли глубокие складки. – Я... вынужден сообщить вам, – продолжал он модулирующим голосом, в то время как его глаза с выражением напряженного внимания быстро перебегали от одного угла комнаты в другой, пока наконец не усталились в окно, – что в недавнем времени я просил руки упомянутой мадемуазели Будденброк, получил безусловное согласие ее родителей и что сама она, хотя формальное обручение еще и не имело места, недвусмысленно обещала мне свою руку...

– Истинный Бог? – с живейшим любопытством переспросил г-н Шварцкопф. – А я-то и не знал... Поздравляю, господин Грюнлих! От всего сердца поздравляю! Ну, вам, надо сказать, достается настоящее сокровище, самое что ни на есть...

– Премного обязан, – с подчеркнутой холодностью отвечал г-н Грюнлих. – Должен, однако, заметить, господин старший лоцман, – продолжал он все тем же модулирующим, но уже слегка угрожающим голосом, – что на пути к упомянутому мной брачному союзу совсем недавно возникли препятствия, причину которых будто бы следует искать в вашем доме. – Все это он произнес вопросительным тоном, словно спрашивая: возможно ли, что слух этот правилен?

Единственным ответом г-на Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми, волосатыми руками моряка, схватился за подлокотники кресла.

– Да, так я слышал, – уверенным, хотя грустным тоном продолжал г-н Грюнлих. – До меня дошли слухи, что ваш сын, студент медицинского факультета, позволил себе... пусть без заранее обдуманного намерения... посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Будденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания...

– Что? – крикнул старший лоцман и, изо всей силы упершись ладонями в подлокотники, мгновенно вскочил на ноги. – Ну, это я сейчас... Ну, этого я им... – Он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури, закричал: – Мета! Мортен! Идите сюда! Оба идите!

– Весьма сожалею, господин старший лоцман, – проговорил г-н Грюнлих с тонкой усмешечкой, – если заявлением о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты...

Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит.

– Сударь, – произнес он наконец голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога, – я простой моряк и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете... ну, тогда позвольте вам заметить, сударь, что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил! Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Будденброк, и у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже, чтобы не заниматься «отцовскими расчетами»... А ну, говорите-ка, отвечайте! Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать, нуте!

Госпожа Шварцкопф с сыном стояли в дверях: первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник; Мортен же имел вид закоснелого грешника... При их появлении г-н Грюнлих даже не пошевелился: сидя на самом краешке дивана в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие.

– Ты, значит, вел себя как глупый мальчишка? – крикнул старший лоцман Мортену.

Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки; взор его был мрачен, от сдерживаемой злобы он даже надул щеки.

– Да, отец, – отвечал он, – фрейлейн Будденброк и я...

– Ну, так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлеп! Завтрашний день чтоб духу твоего здесь не было! Изволь с самого утра отправляться в Геттинген. Что это за чепуха такая?! Вздор! Чтоб больше я об этом не слышал.

– О Господи, Дидрих, – воскликнула г-жа Шварцкопф, умоляюще складывая руки, – как же это можно так сгоряча?.. Кто знает... – Она умолкла. Лучшие ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом.

– Угодно вам видеть барышню? – не умеряя своего голоса, спросил старший лоцман г-на Грюнлиха.

– Она у себя в комнате и сейчас спит, – вмешалась г-жа Шварцкопф; она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно.

– Весьма сожалею, – сказал г-н Грюнлих, в глубине души почувствовав облегчение, и поднялся. – Как я уже заявлял, у меня каждая минута на счету, и экипаж ждет. Разрешите, – продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз, – господин старший лоцман, выразить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею!

Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руку, он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря: «А как же иначе?»

Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортена и его матери.

Глава двенадцатая

Томас явился с крегеровским экипажем. Настал день отъезда. Приехал он утром в десять часов и вместе с Тони и Шварцкопфами позавтракал в столовой. Все опять сидели вместе, как и в первый день; только лето уже прошло, и на веранде есть было невозможно из-за холода и ветра, да не было Мортена, уехавшего в Геттинген. Они с Тони даже как следует не простились. Старший лоцман не спускал с них глаз в последнюю минуту.

– Ну так! Стоп! Пора! – сказал он.

В одиннадцать брат и сестра уже сидели в экипаже, к задку которого был привязан внушительный чемодан Тони. Она была бледна и в своей пушистой осенней кофточке дрожала от холода, усталости, волнения, всегда связанного с отъездом, и тоски, которая время от времени ее охватывала, мучительно стесняя ей сердце. Она поцеловала маленькую Мету, пожала руку ее матери и кивнула г-ну Шварцкопфу в ответ на его слова:

– Ну-с, не забывайте нас, сударыня, и не поминайте лихом! Идет?

– Счастливого пути, поклон папеньке и госпоже консульше.

Тут дверца экипажа захлопнулась, раскормленные гнедые тронули, и все трое Шварцкопфов взмахнули платками...

Тони, прижавшись головой к стенке кареты, смотрела в окно. Небо было затянуто белесой пеленой; ветер гнал по Трэве мелкую рябь; мелкие капли дождя стучали по окну кареты. В конце Первой линии рыбаки сидели у дверей своих домишек и чинили сети; любопытные босонogie ребятишки сбегались со всех сторон посмотреть на экипаж, – они-то остаются здесь...

Когда последние дома селения были уже позади, Тони подалась вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк, потом откинулась на спинку и закрыла глаза, усталые и сейчас болезненно чувствительные. Она почти не спала ночь от волнения, спозаранку начала укладывать чемодан и ничего не ела за завтраком. Во рту у нее пересохло. Она чувствовала себя до того слабой, что даже не пыталась сдерживать горячие слезы, настойчиво и непрерывно набегавшие ей на глаза.

Стоило ей сомкнуть веки, и она снова была в Травемюнде на веранде. Снова видела перед собой Мортена Шварцкопфа – он говорил с ней, как всегда, слегка наклонив голову и время от времени пытливо и благодушно взглядывая на кого-нибудь из сидящих за столом; видела, как он смеется, открывая свои великолепные зубы, о красоте которых он и не подозревал, – и на душе у нее становилось покойно и весело. Она вспоминала все, что слышала от него, все, что узнала во время их долгих и частых разговоров, и, давая себе клятву сохранить все это в памяти, как нечто священное и неприкосновенное, испытывала чувство глубокого удовлетворения. То, что король Пруссии совершил несправедливость, то, что «Городские ведомости» – жалкий листок, и то, что четыре года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах, – все это навеки останется для нее прекрасными, утешительными истинами, тайным сокровищем, которым она сможет наслаждаться в любой день и час... Она будет думать об этом на улице, в семейном кругу, за столом... Кто знает? Возможно, что она пойдет по предначертанному ей пути и станет женой г-на Грюнлиха. Какое это имеет значение? Ведь когда он с чем-нибудь обратится к ней, она вдруг возьмет да и подумает: «А я знаю что-то, чего ты не знаешь...» Ведь в принципе-то дворяне заслуживают только презрения.

Она удовлетворенно улыбнулась и вдруг в стук колес с полной и невероятной отчетливостью различила говор Мортена; она слышала каждый звук его благодушного, немного тягучего голоса, произносившего: «Сегодня нам, фрейлейн Тони, придется сидеть на камнях...» Это воспоминание переполнило меру. Боль и тоска сдавили грудь Тони, безудержные слезы хлынули из ее глаз... Забившись в угол, обеими руками прижав к лицу платочек, она плакала навзрыд.

Томас, с неизменной папиросой во рту, стал растерянно смотреть на шоссе.

– Бедная моя Тони, – проговорил он наконец и погладил рукав ее кофточки. – Мне так тебя жалко! И я... как бы это сказать, очень хорошо тебя понимаю. Но что поделаешь? Через это надо пройти. Верь мне, уж я-то знаю...

– Ах, ничего ты не знаешь, Том, – всхлипывая, отвечала она.

– Ну, не говори. Теперь окончательно решено, что в начале следующего года я уеду в Амстердам. Папа уже подыскал там место для меня... у «Ван Келлена и компания»... И мне придется на долгие, долгие времена распрощаться...

– Ах, Том! Распрощаться с родителями, с домом – невелика беда!

– Да-а, – протянул он, вздохнул, словно желая сказать еще что-то, но промолчал; переложил папиросу из правого угла рта в левый, вскинул одну бровь и отвернулся. – Это ненадолго, Тони, – сказал он немного погодя. – Время свое возьмет... Все забудется...

– Но я как раз и не хочу забыть! – в отчаянии крикнула Тони. – Забыть... Да разве это утешение?

Глава тринадцатая

Но вот и паром, а за ним Израэльдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж проехал через Городские ворота, по правую руку от которых высились стены тюрьмы, и покатил вдоль Бургштрассе, через Коберг... Тони смотрела на серые дома с островерхими крышами, на масляные фонари, привешенные к протянутым через улицу цепям, на госпиталь Святого Духа и почти уже оголенные липы вокруг него. Боже мой, все здесь осталось таким, как было! Все и стояло так – неизменно, величественно, покуда она в Травемюнде вспоминала об этом, как о давнем, полузабытом сне. Эти серые стены олицетворяли то старое, привычное, преемственное, что она как бы заново увидела сейчас и среди чего ей предстояло жить. Она перестала плакать и с любопытством огляделась вокруг. Боль разлуки стихла от вида этих улиц, этих издавна знакомых людей, проходивших по ним. В это самое мгновение экипаж, уже катившийся по Брейтенштрассе, поравнялся с грузчиком Маттисеном; он снял свой шершавый цилиндр с такой озлобленно-смиренной миной, словно хотел сказать: «Что я? Я человек маленький».

Вот уже и поворот на Менгштрассе. Раскормленные гнеды, фыркая и перебирая ногами, остановились у будденброковского дома. Том заботливо высадил сестру, в то время как Антон и Лина уже кинулись отвязывать чемодан. Впрочем, войти в дом им удалось не сразу. Три громадные подводы, груженные мешками с зерном, на которых размашистыми черными буквами было выведено название фирмы: «Иоганн Будденброк», завернули в ворота, прогромыхали по каменному настилу и въехали во двор. Очевидно, часть зерна предполагалось сгрузить в дворовом амбаре, а остальное переправить в амбары «Кит», «Лев» или «Дуб».

Консул с пером, заткнутым за ухо, вышел из конторы и раскрыл дочери объятия:

– Добро пожаловать, Тони, душенька моя!

Она поцеловала отца и взглянула на него заплаканными глазами; нечто вроде стыда промелькнуло в ее взоре. Но консул был добрый человек и ни единым словом не упрекнул ее. Он сказал только:

– Уже поздно. Мы ожидали тебя ко второму завтраку.

Консульша, Христиан, Клотильда, Клара и Ида Юнгман уже столпились на площадке лестницы, чтобы приветствовать Тони...

Первую ночь на Менгштрассе Тони спала крепко и на следующее утро сошла вниз, в маленькую столовую, посвежевшая и успокоенная. Время было раннее, около семи часов. Никто еще не вставал, только Ида Юнгман заваривала кофе к завтраку.

– Ай, ай, Тони, деточка, – сказала она, взглянув на нее своими маленькими карими, еще заспанными глазами, – что это ты так рано?

Тони села у секретера – крышка его была откинута, – заложила руки за голову и стала смотреть на блестящие и черные от сырости каменные плиты двора, на мокрый пожелтевший сад, потом принялась с любопытством перебирать визитные карточки и записки.

Возле чернильницы лежала хорошо знакомая ей большая тетрадь из разносортной бумаги, в тисненном переплете с золотым обрезом. Отец вынул ее, надо думать, еще вчера вечером; странно только, что он не вложил ее, по обыкновению, в кожаный бювар и не запер в тайной ящик.

Она взяла тетрадь в руки, перелистала ее, начала читать – и увлеклась. В большинстве своем это были незатейливые записи о знакомых ей событиях, но каждый из пишущих принимал у своего предшественника торжественную, хотя и не напыщенную, манеру изложения, инстинктивно и невольно воспроизводя стиль исторических хроник, свидетельствовавший о сдержанном и потому тем более достойном уважении каждого члена семьи к семье в целом, к

ее традициям, ее истории. Для Тони ничего нового здесь не было, не впервые читала она эти страницы. Но никогда еще то, что стояло на них, не производило на нее такого впечатления, как в это утро. Благоговейная почтительность, с которой здесь трактовались даже самые мало-важные события семейной истории, потрясла ее.

Опершись локтями о доску секретера, она читала серьезно, с всевозрастающим увлечением и гордостью.

Ее собственное маленькое прошлое тоже черта за чертой было воссоздано здесь. Появление на свет, детские болезни, первое посещение школы, поступление в пансион мадемуазель Вейхбротт, конфирмация... Все это рачительно записывал консул своим мелким, беглым, «купеческим» почерком; записывал, почти религиозно преклоняясь перед фактами; ибо разве и самомалейший из них не был волею Господа, предивно руководившего судьбами семьи?

Что еще будет стоять здесь под ее именем, унаследованным от бабушки Антуанетты? Что бы ни стояло, отдаленные потомки будут читать это с тем же трепетом, с которым она сейчас мысленно следит за событиями прошлого.

Тони вздохнула и откинулась на стуле, сердце торжественно билось в ее груди. Все ее существо было преисполнено бесконечным почтением к себе, знакомое чувство собственной значительности, удесятенное духом, веявшим со страниц тетради, охватило ее с такой силой, что мурашки побежали у нее по спине. «Звено единой цепи», – писал мне папа. Да! Да! Это-то и налагало на нее такую серьезную, такую высокую ответственность. Ведь и она была призвана содействовать делами и помыслами возвеличению своего рода.

Она опять перелистала тетрадь до самого конца, где на плотном листе *in folio* рукою консула было изображено генеалогическое древо Будденброков со всеми положенными скобками, рубриками и четко выписанными датами: начиная с бракосочетания родоначальника Будденброков и пасторской дочери Бригитты Шурен до женитьбы самого консула на Элизабет Крегер в 1825 году. От этого брака, гласила запись, произошло четверо детей. Далее, в строгой последовательности, были проставлены годы, месяцы и числа рождений, а также имена, полученные детьми при Святом Крещении. Под именем старшего сына значилось еще, что в 1842 году, на святой, он в качестве ученика вступил в отцовское дело.

Тони долго смотрела на свое имя, на незаполненное пространство под ним. И вдруг лицо ее приняло болезненно-напряженное выражение. Она порывисто схватила перо, не обмакнула, а стукнула им о дно чернильницы и затем, изо всей силы нажимая на него согнутым указательным пальцем и низко склонив пылающую голову, вывела своим неловким, косо взбегающим кверху почерком: «...22 сентября 1845 года обручилась с господином Бендиксом Грюнлихом, коммерсантом из Гамбурга».

Глава четырнадцатая

– Я полностью согласен с вами, друг мой! Вопрос это важный и требующий скорейшего разрешения. Короче говоря: по установившемуся обычаю, приданое девушки из нашей семьи составляет семьдесят тысяч марок наличными.

Господин Грюнлих бросил на своего будущего тестя быстрый и деловитый взгляд.

– Вам известно... – произнес он; и это «вам известно» протяженностью точно соответствовало длине его левой золотисто-желтой бакенбарды, которую он задумчиво пропускал сквозь пальцы и выпустил не раньше, чем произнес эти два слова, – уважаемый батюшка, то глубокое почтение, которое я неизменно питаю к традициям и принципам! Но... не кажется ли вам, что в данном случае такое точное соблюдение однажды установленных правил граничит с некоторым педантизмом?... Дело ширится, семейство процветает, обстоятельства разительно изменились к лучшему...

– Друг мой, – прервал его консул. – Вы знаете, что я человек широкий! Господи Боже мой! Вы ведь мне даже не дали договорить. А я как раз хотел сказать, что, учитывая все обстоятельства, я готов пойти вам навстречу и к положенным семидесяти, не обинуясь, прибавить десять тысяч.

– Значит, всего восемьдесят тысяч... – подытожил г-н Грюнлих и пошевелил губами, что, по-видимому, должно было означать: не слишком много, но сойдет и так.

Соглашение было достигнуто, ко взаимному удовольствию, и консул, поднявшись со стула, с довольным видом побряцал в кармане увесистой связкой ключей: приданое девиц Будденброк «по установившемуся обычаю» как раз и составляло восемьдесят тысяч марок наличными.

После этого разговора г-н Грюнлих отбыл в Гамбург. Тони почти не ощущала новизны своего положения. Никто не мешал ей ни танцевать у Меллендорфов, Лангхальсов, Кистенмакеров и дома на Менгштрассе, ни кататься на коньках по реке, ни принимать ухаживания молодых людей. В середине октября она была приглашена к Меллендорфам по случаю обручения их старшего сына с Юльхен Хагенштрем.

– Том, – воскликнула она, – я ни за что не пойду, это возмутительно!

Но все-таки пошла и веселилась до упаду.

Помимо всего прочего, несколькими строчками, вписанными ее рукой в семейную историю, она завоевала себе право, в сопровождении консульши или даже одна, покупать все, что ей приглянется, в лучших городских магазинах для своего приданого, разумеется изысканного и «благородного». Две швеи с утра до ночи сидели в маленькой столовой у окна, подрубали, метили белье и поглощали невероятное количество домашнего хлеба с зеленым сыром.

– Полотно от Лентфера уже прислали, мама?

– Нет еще, дитя мое; смотри-ка, две дюжины чайных салфеток уже готовы.

– Очень хорошо. Но он обещал непременно прислать сегодня утром. Надо ведь еще успеть подрубить простыни.

– Ида, мадемуазель Биттерих спрашивает, где кружева для наволочек.

– В бельевом шкафу, деточка, в сенях направо.

– Лина!

– Можешь и сама пробежаться, душенька...

– О, Боже мой! Я не для того выхожу замуж, чтобы самой бегать по лестницам.

– Ты уже решила что-нибудь относительно подвенечного платья, Тони?

– *Moiré antique*⁴¹, мама!.. Без *moiré antique* я венчаться не стану.

⁴¹ Шелковая материя (фр.).

Так прошел октябрь, за ним ноябрь. К Рождеству прибыл г-н Грюнлих, чтобы провести сочельник в кругу семьи Будденброков; от приглашения на праздник к старикам Крегерам он тоже не отказался. Обхождение его с невестой было исполнено предупредительной деликатности – чего, впрочем, и ждали от него, – без излишней церемонности, но и без навязчивости, без каких бы то ни было неуместных нежностей. Скромный и ласковый поцелуй в лоб в присутствии родителей скрепил обряд обручения. Временами Тони удивлялась, как мало его радость соответствовала отчаянию, которое он выказал при ее отказе. Теперь в его глазах, когда он смотрел на нее, читалось разве что довольство собственника. Правда, изредка, когда они оставались вдвоем, на него находило веселое настроение: он поддразнивал ее, пытался усадить к себе на колени и голосом, срывающимся от игривости, спрашивал:

– Ну что, все-таки изловил я тебя, зацапал, а?

На что Тони отвечала:

– Сударь, вы забываетесь, – и торопилась высвободиться.

Вскоре после Рождества г-н Грюнлих снова отбыл в Гамбург: «живое дело» безотлагательно требовало его присутствия. Будденброки молчаливо согласились с тем, что у Тони и до помолвки было достаточно времени узнать его.

Вопрос о покупке дома для молодых был улажен в письмах. Тони, заранее радовавшаяся жизни в большом городе, выразила желание поселиться в самом центре Гамбурга, где, кстати, на Госпитальной улице помещалась и контора г-на Грюнлиха. Но жених с чисто мужской настойчивостью добился полномочий на покупку пригородной виллы в Эймсбюттеле, немногочисленной и живописной местности, весьма подходящей для идиллического гнездышка молодой четы – «*Procul negotiis*»⁴², – нет, он еще не совсем позабыл свою школьную латынь.

Так прошел декабрь, а в начале 1846 года была отпразднована свадьба. На традиционный вечер накануне венчания к Будденброкам собрался чуть ли не весь город. Подруги Тони, среди них и Армгард фон Шиллинг, для этого случая прибывшая из своего имения в высокой, как башня, карете, танцевали в большой столовой и в коридоре, где пол посыпали тальком, с приятелями Тома и Христиана; в числе последних был Андреас Гизеке, сын брандмайора и *studiosus juris*⁴³, а также Стефан и Эдуард Кистенмакеры, представлявшие фирму «Кистенмакер и К°».

О том, чтобы все шло как полагается, позаботился консул Петер Дельман, расколовший о каменные плиты нижних сеней все горшки, которые ему удалось раздобыть в доме.

Фрау Штут с Глокенгиссерштрассе снова представился случай повращаться в высших кругах: она помогала мамзель Юнгман и портнихе одевать Тони к венцу. Накажи ее Бог, если она когда-нибудь видела невесту красивее! Позабыв о своей толщине, фрау Штут ползала по полу и, закатывая глаза от восторга, прищипливала миртовые веточки к *moiré antique*. Церемония эта происходила в маленькой столовой.

Господин Грюнлих во фраке с длинными фалдами и в белой жилетке дожидался у двери. На его розовой физиономии застыло серьезное и корректное выражение; бородавка возле левой ноздри хранила явственные следы пудры, а золотисто-желтые бакенбарды были тщательно расчесаны.

Наверху, в ротонде, где должен был свершиться обряд венчания, собралась вся семья – изрядное множество народа: старики Крегеры, уже несколько одряхлевшие, но, как всегда, элегантные, консул Крегер с сыновьями Юргеном и Якобом (последний, так же как и Дюшаны, нарочно прибыл из Гамбурга); на этот раз присутствовал и Готхольд Будденброк с супругой, урожденной Штювинг, и с дочерьми Фридерикой, Генриеттой и Пфиффи, из которых, к сожалению, ни одна уже не имела надежды выйти замуж. Боковая, мекленбургская линия была представлена отцом Клотильды, приехавшим из «Неблагодатного» и все время тарашившим

⁴² Вдали от дел (*лат.*).

⁴³ Студент-юрист (*лат.*).

глаза на невероятно величественный дом богатых родственников. Франкфуртская родня ограничилась присылкой подарков, – путь был уж очень неблизкий; вместо них присутствовали – единственные не принадлежавшие к семье – доктор Грабов – домашний врач, и мадемуазель Вейхбротт – престарелая подруга Тони, Зеземи Вейхбротт, в чепце с новыми зелеными лентами и в черном платье. «Будь счастлива, милое дитя мое», – сказала она, когда Тони об руку с г-ном Грюнлихом вошла в ротонду, и звонко чмокнула ее в лоб. Вся семья осталась довольна невестой. Тони держалась бодро, непринужденно и выглядела очень красивой, хотя и была несколько бледна от любопытства и предотъездного волнения.

В правой стороне украшенной цветами ротонды был воздвигнут алтарь. Обряд венчания совершал пастор Келлинг из Мариенкирхе, не преминувший в энергичных выражениях призвать молодых к умеренности. Все шло по раз навсегда установленному порядку. Тони с наивной готовностью произнесла «да», между тем как г-н Грюнлих перед этим предварительно издал свое «хэ-эм», чтобы прочистить глотку. После венчания приступили к ужину, еще более вкусному и обильному, чем обычно.

В то время как гости с пастором во главе продолжали ужинать наверху, консул с супругой вышли на заснеженную улицу – проводить молодых. Громоздкая дорожная карета с привязанными к ней чемоданами и баулами уже стояла у подъезда.

Высказав – и неоднократно – твердую уверенность, что она вскоре приедет погостить домой и что родители, в свою очередь, не станут слишком долго откладывать приезд к ней в Гамбург, Тони в безмятежнейшем расположении духа уселась в карету, предоставив консульше укутать ей ноги меховой полостью. Супруг занял место рядом с ней.

– Запомните, Грюнлих, – сказал консул, – новые кружева лежат в маленькой сумке, с самого верху. Подъезжая к Гамбургу, спрячьте их под пальто, понятно? Эти таможенные пошлины... по мере возможности надо стараться обходить их. Будьте здоровы! Еще раз будь здорова. Тони, душенька! Господь с тобою!

– Надеюсь, что в Арнсбурге имеется удобная гостиница? – сказала консульша.

– Все уже предусмотрено, дорогая матушка; номер заказан, – ответил г-н Грюнлих.

Антон, Лина, Трина, София подошли проститься с мадам Грюнлих. Казалось, все уже кончено, пора захлопнуть дверцы кареты, но тут Тони поддалась внезапному порыву: она выпуталась из полости, хотя это было не так-то просто, бесцеремонно перебралась через колени г-на Грюнлиха, который проворчал что-то себе под нос, и в волнении обняла отца:

– Прощай, папа, милый мой папа! – и снова прошептала: – Доволен ты мною?

Консул на мгновение молча прижал к себе дочь, затем легонько ее оттолкнул и горячо пожал ей обе руки.

Больше делать было нечего. Дверца захлопнулась, кучер щелкнул бичом, лошади тронули так, что окна кареты задребезжали. Консульша махала своим батистовым платочком, покуда карету, громыхавшую по Менгштрассе, не застлала снежная пелена.

Консул в задумчивости стоял рядом с женой. Консульша с обычной своей грацией поплотней запахла на плечах меховую пелерину.

– Вот она и уехала, Бетси.

– Да, Жан. И первая из детей оставила нас. Ты веришь, что она будет счастлива с ним?

– Ах, Бетси, она довольна собой; а более прочного счастья человеку на земле не дожидаться.

Они вошли в дом и вернулись к гостям.

Глава пятнадцатая

Томас Будденброк спустился по Менгштрассе вниз к Фюнфгаузену. Идти вёрхом по Брейтенштрассе ему не хотелось, чтобы не раскланиваться с поминутно встречающимися знакомыми. Засунув руки в карманы своего темно-серого пальто с меховым воротником, он задумчиво шагал по смерзшемуся, искристому, скрипучему снегу. Он шел привычной ему дорогой, о которой никто не подозревал. Небо голубело, холодное и ясное; воздух был свеж, душист и прозрачен; мороз доходил до пяти градусов; стоял на редкость погожий, безветренный, прозрачный и приятный февральский день.

Томас миновал Фюнфгаузен, пересек Беккергрубе и узким переулочком вышел на Фишергрубе. Пройдя несколько шагов по этой улице, параллельной Менгштрассе и также круто сбегавшей к реке, он очутился у маленького домика, в котором помещался скромный цветочный магазин с узенькой входной дверью и небольшим окном, где на зеленых подставках было выставлено несколько горшков с луковичными растениями.

Он вошел в магазин; жестяной колокольчик над дверью так и залился, словно усердная дворовая собачонка. У прилавка, занятая разговором с молоденькой продавщицей, стояла приземистая и толстая пожилая дама в турецкой шали. Она внимательно разглядывала горшки с цветами, брала их в руки, нюхала, ставила назад и болтала так ретиво, что ей приходилось то и дело вытирать рот платочком. Томас Будденброк учтиво поклонился и отошел в сторону. Покупательница эта была бедная родственница Лангхальсов, добродушная и болтливая старая дева, которая, несмотря на свою громкую и аристократическую фамилию, отнюдь не принадлежала к высшему кругу. «Тетю Лотхен», как ее, за редкими исключениями, звал весь город, никогда не приглашали на парадные обеды и балы, а разве что на чашку кофе. С горшком, завернутым в шелковистую бумагу, она наконец направилась к двери, а Том, вторично поздоровавшись с продавщицей, громким голосом сказал:

– Попрошу вас несколько хороших роз. О, мне все равно, пусть французских...

Когда же «тетя Лотхен» скрылась за дверью, он тихо добавил:

– Ну так, убери их, Анна! Здравствуй, моя малютка! Сегодня, увы, я пришел к тебе с тяжелым сердцем!

У Анны поверх простого черного платья был надет белый фартук. Она была поразительно хороша собой. Нежная, как газель, с лицом почти малайского типа – чуть выдающиеся скулы, раскосые черные глаза, излучавшие мягкий блеск, и матовая кожа, с желтоватым оттенком. Руки ее, тоже желтоватые и узкие, были на редкость красивы для простой продавщицы.

Она прошла позади стойки в правый угол магазина, не видный через окно с улицы. Томас, последовавший за ней с внешней стороны прилавка, наклонился и поцеловал ее в губы и в глаза.

– Да ты совсем замерз, бедный! – сказала она.

– Пять градусов, – отвечал Том. – Но я даже не почувствовал холода, у меня было так грустно на душе. – Он сел на прилавок и, не выпуская ее рук из своих, продолжал: – Ты слышишь, Анна?.. Сегодня нам надо набраться благоразумия. Пришла пора.

– О Боже, – воскликнула она и робким, скорбным жестом поднесла к глазам подол фартука.

– Когда-нибудь это должно было случиться, Анна... Не плачь, не надо! Мы ведь с тобой решили быть благоразумными, правда! Ну, что поделаешь! Через это надо пройти!

– Когда? – сквозь слезы спросила она.

– Послезавтра.

– О Боже!.. Почему послезавтра? Еще одну недельку... Ну я прошу тебя!.. Хоть пять дней!..

– Невозможно, дорогая. Обо всем уже договорено в точности... Они ждут меня в Амстердаме... Я при всем желании не могу ни на один день отсрочить отъезд!

– Это так ужасно далеко!

– Амстердам? Ничуть не бывало! А думать друг о друге можно сколько угодно, ведь верно я говорю? Я буду писать тебе! Не успею приехать, как уже напишу...

– А помнишь еще, – сказала она, – как полтора года назад на стрелковом празднике...

Он перебил ее, зажегшись воспоминаниями:

– О Боже, подумать только – полтора года!.. Я принял тебя за итальянку... Я купил у тебя гвоздику и вдел ее в петлицу... Она и сейчас у меня... Я возьму ее с собой в Амстердам... А какая пылица и жара были тогда на лугу!..

– Да, и ты принес мне стакан лимонада из соседнего киоска... Я помню как сейчас! Там еще так пахло печеньем и толпой...

– И все-таки было замечательно! Разве мы сразу, по глазам друг друга, не отгадали, что будет дальше?

– Да и еще ты хотел прокатиться со мной на карусели... Но не могла же я оставить торговлю... Хозяйка бы так меня разбранила...

– Конечно, не могла, Анна, я отлично понимаю...

Она тихонько добавила:

– Но больше я уж ни в чем тебе не отказывала.

Он снова поцеловал ее в губы и в глаза.

– Прощай, моя дорогая, прощай, моя крошка, девочка моя! Да, пора уже начинать прощаться!

– О, но ведь завтра ты еще придешь?

– Конечно, приду, в это же время. И послезавтра утром тоже, я уж как-нибудь вырвусь... А сейчас я вот что хотел тебе сказать, Анна... Я уезжаю далеко, ведь что ни говори, а Амстердам не близко... А ты остаешься здесь... Только не погуби себя, Анна, ты слышишь меня? До сих пор ты вела себя благоразумно, это я говорю тебе.

Она плакала, закрыв лицо передником.

– А ты?.. А ты?..

– Одному Богу известно, Анна, как сложится жизнь! Не всегда я буду молод... Ты умная девочка, ты никогда не заикалась о браке или чем-то подобном...

– Боже избави, мне требовать от тебя?..

– Человек в себе не волен... Если я буду жив, ко мне перейдет дело отца, я должен буду сделать подходящую партию... Ты видишь, я ничего не таю от тебя и в последние минуты... Я всей душой желаю тебе счастья, милая, хорошая моя девочка!.. Только не губи себя, Анна, слышишь? До сих пор, повторяю тебе, ты была благоразумна.

В маленьком магазине было тепло. Влажный аромат земли и цветов наполнял его. А за окном зимнее солнце уже клонилось к западу. Нежная, чистая, словно нарисованная на фарфоре, вечерняя заря позолотила небо над рекою. Уткнувшись в поднятые воротники, люди торопливо проходили мимо окна, не видя тех двух, что прощались в углу маленького цветочного магазина.

Часть четвертая

Глава первая

«30 апреля 1846 года.

Дорогая мама, от всей души благодарю тебя за письмо, в котором ты сообщаешь об обручении Армгард фон Шиллинг с г-ном фон Майбом, владельцем Пеппенраде. Сама Армгард тоже прислала мне извещение (очень благородного вида, с золотым обрезом) и письмо, в восторженных выражениях рассказывающее о ее женихе. По словам Армгард, он писанный красавец и прекрасный человек. Как она, верно, счастлива! Все кругом выходят замуж! Из Мюнхена я тоже получила извещение от Евы Эверс. Ей достался директор пивоварни.

А теперь позволь задать тебе один вопрос, милая мама: почему это до сих пор ничего не слышно насчет визита консула Будденброка в наши края? Уж не ждете ли вы официального приглашения от Грюнлиха? Совершенно напрасно, потому что он, по-моему, вовсе об этом не помышляет, а когда я ему напоминаю, говорит: «Да, да, дитя мое, но у твоего отца и без того много дела». Или вы, чего доброго, боитесь обеспокоить меня? Да нет же, ни вот настолечко! Или думаете, что я, увидев вас, затоскую по дому? Господи, да я ведь разумная, зрелая женщина и хорошо знаю жизнь.

Я только что была на чашке кофе у соседки, мадам Кезелау; это очень приятная семья; наши соседи слева, некие Гусманы (впрочем, их дом отстоит довольно далеко от нашего), тоже люди обходительные. У нас есть еще два друга дома, они живут неподалеку: доктор Клаасен (о нем я еще расскажу тебе в конце письма) и банкир Кессельмейер, закадычный друг Грюнлиха. Ты даже и вообразить себе не можешь, что это за забавный старичок! У него седые, коротко подстриженные бакенбарды и черные с проседью волосы на голове, больше похожие на пух, которые ужасно смешно колыхнутся от малейшего ветерка. А так как он очень болтлив и вдобавок еще вертит головой, как птица, то я его прозвала «Сорокой». Грюнлих на меня за это сердится и говорит, что сорока – воровка, а г-н Кессельмейер – честный человек. При ходьбе он горбится и загребаёт воздух руками. Пух у него растет только до половины головы, а затылок красный и морщинистый. Он очень смешной и веселый. Иногда он треплет меня по щеке и говорит: «Славная вы женщина, ну и повезло же этому Грюнлиху, что он вас заполучил!» Тут он вытаскивает пенсне (у него их всегда три штуки при себе, все на длинных шнурках, вечно перепутывающихся на его белом жилете), морщит нос, вскидывает на него пенсне и, раскрыв рот, смотрит на меня с таким восхищением, что я начинаю громко хохотать. Но он на это не обижается.

Грюнлих очень занят; каждое утро он уезжает в город в нашем маленьком желтом шарабане и возвращается домой только поздно вечером. Иногда он сидит около меня и читает газету.

Когда мы едем в гости, к Кессельмейеру, например, или к консулу Гудштикеру на Альтерсдам, или к сенатору Боку на Ратгаузенштрассе, нам приходится нанимать карету. Я уже не раз просила Грюнлиха купить ландо:

когда живешь за городом, это прямо-таки необходимо! Обещать-то он мне обещал, но как-то наполовину. Как ни странно, но Грюнлих вообще неохотно со мной выезжает и злится, когда я разговариваю с кем-нибудь из городских знакомых. Может быть, ревнует?

Наша вилла, дорогая мама, которую я тебе уже описывала в подробностях, и вправду очень хороша, а теперь, после покупки новой мебели, стала еще лучше. Гостиная у нас в первом этаже такая, что даже ты осталась бы довольна: вся коричневого шелка. Рядом, в столовой, очень красивые панели; за каждый стул заплачено 25 марок. Я сейчас сижу в кабинете, который в то же время служит нам маленькой гостиной. Кроме того, у нас есть еще курительная комната, где стоит и ломберный стол. Для зала – он находится по другую сторону коридора и занимает всю вторую половину этажа – мы недавно купили желтые шторы; это выглядит очень аристократично. Наверху – спальня, ванная, гардеробная и помещения для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика-грума. Обеими девушками я, в общем, довольна. Правда, я не вполне уверена в их честности, но мне ведь, слава Богу, не приходится считать каждый грош! Короче говоря, дом у меня поставлен так, что вы не будете за меня краснеть.

Ну, а теперь, дорогая мама, расскажу самое важное, что я приберегла к концу. С недавних пор я чувствую себя как-то странно: не совсем здоровой, понимаешь, но и не то чтобы больной; при случае я поделилась этим с доктором Клаасеном. Это маленький человек с большой головой, на которую он к тому же насаживает огромную шляпу. У него длинная борода почти зеленого цвета, так как он много лет подряд ее чернил; он вечно тычет в эту бороду круглым набалдашником своей трости. Ох, хотела бы я, чтобы ты на него посмотрела! Он ничего не ответил на мои слова, поправил пенсне, подмигнул мне своими красноватыми глазками, посопел носом, похожим на картошку, хихикнул и окинул меня таким бесцеремонным взглядом, что я не знала, куда и деваться. Потом он меня осмотрел, объявил, что все идет как нельзя лучше, и велел пить минеральную воду, так как я «возможно» несколько малокровна. О, мама! Остороженько сообщи эту новость моему милому папе; пусть он внесет ее в семейную тетрадь. В ближайшее время снова напишу тебе.

Поцелуй от меня папу, Христиана, Клару, Тильду и Иду Юнгман. Томасу я недавно писала в Амстердам.

Твоя покорная дочь Антония».

«2 августа 1846 года.

Мой милый Томас,

с удовольствием прочитал твое письмо о вашей с Христианом встрече в Амстердаме. Надо думать, у вас выдалось несколько приятных деньков. Вестей о дальнейшем путешествии твоего брата через Остенде в Англию я пока не имею, но надеюсь, что с Божьей помощью оно завершилось благополучно. Хочу верить, что время не упущено и что Христиан, после того как он поставил крест на ученой карьере, еще сможет научиться у своего принципала, м-ра Ричардсона, толково вести дела, – дай Бог ему удачи на новом для него пути коммерсанта. М-р Ричардсон (Триниддлстрит), как тебе известно, наш давнишний клиент. Я благодарю Бога за то, что мне удалось пристроить обоих моих сыновей в дружественные нам торговые предприятия. Ты, верно, уже

и сейчас чувствуешь, как это тебе полезно; я со своей стороны испытываю глубокое удовлетворение от того, что г-н ван дер Келлен в первую же четверть года не только повысил тебе жалованье, но и предоставил тебе возможность побочного заработка. Убежден, что ты своей работой и поведением и впредь будешь оправдывать оказанное тебе доверие.

При всем том меня тревожит не вполне удовлетворительное состояние твоего здоровья. То, что ты пишешь о своей нервности, напомнило мне собственную мою молодость, когда я, работая в Антверпене, вынужден был уехать в Эмс и пройти там курс лечения. Если и тебе, сын мой, понадобится что-либо подобное, то знай, что я в любую минуту готов морально и материально поддержать тебя, хотя в последнее время, столь беспокойное в смысле политических событий, я и воздерживаюсь от излишних расходов.

Несмотря на это, в середине июня мы с мамой совершили поездку в Гамбург, чтобы повидать твою сестру Тони. Супруг ее нас не приглашал, но принял с большой сердечностью и в течение двух дней, которые мы у него провели, до такой степени усердно занимался нами, что даже забросил свои дела, и мне лишь с трудом удалось выбрать время для одного-единственного визита – к Дюшанам. Антония на пятом месяце; врач, ее пользующийся, заверяет, что все идет нормально, и за исход не опасается.

Хочу еще упомянуть о письме г-на ван дер Келлена, из которого я с радостью узнал, что ты и *privatim*⁴⁴ желанный гость в его семействе. Ты, сын мой, уже достиг возраста, когда пожинают плоды воспитания, данного человеку его родителями. В этой связи я хочу сказать тебе, что в твои годы, работая в Бергене и в Антверпене, я всегда почитал своим долгом по мере сил угождать супругам моих принципалов, что, без сомнения, принесло свои плоды. Не говоря уже о лестном чувстве, которое испытываешь, общаясь с семейством принципала, молодой человек обретает в лице его супруги покровительницу и заступницу – на случай, правда, крайне нежелательный, но все же возможный, если им будет допущена какая-либо оплошность в деле или если он по другой причине вызовет неудовольствие главы фирмы.

Что касается твоих планов на будущее, сын мой, то они радуют меня тем, что в них сквозит живейший интерес к делу. Но полностью я их одобрить не могу. Ты исходишь из того положения, что сбыт продуктов, производимых или перерабатываемых в окрестностях нашего города, а именно: зерна, брюквы, кур, мехов, шерсти, растительного масла, жмыхов, костей и т. п., и есть то, чем естественно и закономерно должны заниматься наши коммерсанты, и потому ты собираешься наряду с некоторыми комиссионными делами заняться также и этой отраслью торговли. В свое время, когда конкуренция была у нас еще не так велика (теперь она, конечно, изрядно возросла), я носился с теми же мыслями и, поскольку у меня имелось время и возможность, даже проделал некоторые опыты. Я и в Англию ездил главным образом для того, чтобы завязать там связи, полезные для этого начинания. Я добрался до Шотландии, познакомился кое с кем из нужных мне людей, но вскоре понял, сколь рискованны подобные экспортные операции, и счел за благо от них отказаться. Кроме того, у меня в памяти всегда свежо предостережение одного из наших предков, основателя фирмы: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя».

⁴⁴ Как частное лицо (*лат.*).

Этому завету я намерен свято следовать до конца моих дней, хотя временами меня и охватывают сомнения, ибо я вижу, что люди, не придерживающиеся таких принципов, значительно лучше преуспевают. Я имею в виду Штрунка и Хагенштрема – их дело непрерывно разрастается, тогда как наше движется очень уж потихоньку. Ты знаешь, что капитал фирмы сократился после смерти твоего деда, и я молю Бога лишь о том, чтобы оставить тебе дело хотя бы в нынешнем его состоянии. Ведь в лице нашего управляющего, г-на Маркуса, я имею неизменно дельного и опытного помощника. Ах, если бы семья твоей матери была хоть немного бережливее! Наследство Крегеров должно сыграть для нас важнейшую роль.

Дела фирмы и городского управления не оставляют мне ни минуты времени. Я выбран старшиной Бергенской коллегии и депутатом от бюргерства в финансовый департамент, в коммерческую коллегию, в отчетно-ревизионную комиссию и в приют Св. Анны.

Твоя мать, Клара и Клотильда шлют тебе наисердечнейший привет. Кроме того, меня просили передать тебе поклон: сенатор Меллендорф, доктор Эвердик, консул Кистенмакер, маклер Гош, К.Ф. Кеппен, а из наших служащих г-н Маркус и капитаны Клоот и Клетерман. Господь да благословит тебя, сын мой!

Работай, молись и будь бережлив.

Любящий тебя и всегда пекущийся о тебе отец».

«8 октября 1846 года.

Достоуважаемые и дорогие родители!

Нижеподписавшийся почитает приятнейшим своим долгом уведомить вас о благополучном разрешении от бремени вашей дочери, а моей горячо любимой супруги Антонии, последовавшем полчаса назад. По Господнему соизволению – это девочка, и я не нахожу слов, чтобы высказать свою радость и умиление. Самочувствие нашей дорогой родильницы, а также ребенка не оставляет желать лучшего; доктор Клаасен выразил свое полное удовлетворение подобным исходом. Г-жа Гроссгеоргис, акушерка, тоже считает, что все сошло прекрасно. Волнение побуждает меня отложить перо. С чувством глубочайшего уважения и нежности к досточтимым родителям

подписываюсь:

Б. Грюнлих.

Для мальчика у меня было заготовлено очень красивое имя. А теперь я хочу назвать ее Метой, но Гр. стоит за Эрику.

Т.».

Глава вторая

– Что с тобой, Бетси? – спросил консул, садясь за стол и снимая тарелку, которой заботливо прикрыли его суп. – Ты нездорова? В чем дело? У тебя страдальческий вид!

Большая столовая выглядела теперь очень пустынно. За круглым столом, кроме консула и консульши, обычно сидели только мамзель Юнгман, десятилетняя Клара и тощая смиренная, молча все поедающая Клотильда. Консул огляделся кругом. Лица у всех вытянутые, расстроенные. Что случилось? Он сам пребывал в нервном и тревожном состоянии: на бирже было беспокойно из-за этой дурацкой шлезвиг-голштинской истории... и еще другое беспокойство носилось в воздухе. Через несколько минут, когда Антон ушел за жарким, консулу сообщили о том, что стряслось в доме. Трина, кухарка Трина, до сих пор неизменно преданная и добросовестная, внезапно перешла к открытому возмущению. К вящему неудовольствию консульши, она в последнее время заключила дружбу, род духовного союза, с приказчиком из мясной лавки, и этот всегда окровавленный юноша, видимо, оказал губительное влияние на развитие ее политических воззрений. Едва только консульша начала выговаривать ей за неудавшийся луковый соус, как она уперла обнаженные руки в бока и сказала буквально следующее: «Помяните мое слово, сударыня, вам уж недолго царевать! Скоро заведутся другие порядки, скоро я буду сидеть на диване в шелковом платье, а вы будете мне прислуживать...» Само собой разумеется, ей было тотчас же отказано от места.

Консул покачал головой. Он и сам в последнее время чувствовал приближение грозы. Правда, старых грузчиков и складских рабочих не так-то просто было сбить с толку. Но из молодежи некоторые уже вели себя как одержимые новейшим духом – духом крамолы. Весной произошли уличные беспорядки, и хотя уже был составлен проект новой конституции, учитывающий требования новейшего времени, который несколько позднее и был утвержден сенатом, не пожелавшим обратить внимание на протесты Лебрехта Крегера и еще нескольких старых упрямцев. После этого были выбраны народные депутаты и созвана городская дума. Но спокойствие не восстанавливалось. Всюду царил смут. Каждый хотел по-своему пересмотреть конституцию и избирательное право; все бюргеры перессорились. Одни, в том числе и консул Иоганн Будденброк, требовали «сословного принципа». «Нет, всеобщее избирательное право!» – шумели другие, среди последних и Хинрих Хагенштрем. Третьи кричали: «Общесловные выборы», сами не понимая хорошенько, что означает этот лозунг. В воздухе носились и такие идеи, как уничтожение различий между «бюргерами» и «жителями» и распространение гражданских прав на лиц нехристианского вероисповедания. Неудивительно, что будденбровской Трине взбрела на ум идея шелкового платья и сидения на диване! Ах, это было бы еще с полбеды! События грозили принять и вовсе страшный оборот.

Настал первый день октября 1848 года. Ясное небо с грядой легких, быстро бегущих облачков казалось светло-серебристым от пронизывающих его солнечных лучей, несших уже столь мало тепла, что у Будденбровых в ландшафтной, за высокой до блеска начищенной резной заслонкой печи, потрескивали поленья.

Маленькая Клара, девочка с пепельными волосами и строгим взглядом, вязала за рабочим столиком у окна, а Клотильда, тоже быстро перебивавшая спицами, сидела рядом с консульшей на диване. Клотильда Будденброк была не намного старше своей замужней кухни; ей недавно исполнился двадцать один год, но черты ее длинного лица уже заострились и гладко зачесанные волосы, не белокурые, а какие-то тускло-серые, завершали ее облик старой девы. Впрочем, она была довольна и в борьбу с обстоятельствами не вступала. Может быть, она даже испытывала потребность поскорее состариться, поскорее разделаться со всеми сомнениями и надеждами. У нее гроша не было за душой, она знала, что во всем мире не сыщется человека, который бы женился на ней, и покорно смотрела в глаза будущему, не сулившему ничего,

кроме жизни в маленькой комнатухе на пенсию, которую могущественный дядюшка исхлопочет для нее в каком-нибудь благотворительном заведении, пекущемся о бедных, но благородных девицах.

Консультша была занята чтением двух только что полученных писем. В одном Тони сообщала о добром здравии маленькой Эрики, в другом Христиан подробно и пылко описывал прелести лондонской жизни, не слишком распространяясь о своей деятельности у м-ра Ричардсона. Консультша, приближавшаяся к середине пятого десятка, горько сетовала на участь блондинок – раннюю старость. Нежный цвет лица, так прекрасно гармонирующий с рыжеватыми волосами, в эти годы блекнет, несмотря на все притирания, и ее волосы уже начали бы неумолимо седеть, если бы не рецепт одного парижского настоя, который на первых порах еще предохранял их. Она твердо решила никогда не быть седой. Когда настой перестанет действовать, она закажет себе парик цвета ее собственных волос в дни молодости. На самой верхушке все еще сложной и искусной прически консультши был приколот маленький атласный бант, обшитый кружевами: первый зачаток чепца, вернее, только легкий намек на него. Широкая шелковая юбка консультши ложилась крупными складками, а рукава для большей пышности были подбиты жесткой материей. Золотые браслеты, как всегда, тихонько звенели при каждом ее движении. Часы показывали три часа пополудни.

Внезапно с улицы послышались крики, возгласы, какой-то торжествующий гогот, свист, топот множества ног по мостовой, шум, неуклонно приближавшийся и нараставший.

– Что это, мама? – воскликнула Клара, смотревшая в «шпиона». – Сколько народу! Что там случилось? Чему они все радуются?

– О Господи! – Консультша отшвырнула письмо, вскочила и в страхе кинулась к окну. – Неужто это... Господи Боже мой! Да, да! Это революция. Это... народ!

Дело в том, что в городе с самого утра происходили беспорядки. Днем на Брейтенштрассе кто-то запустил камнем в окно суконщика Бентьена, хотя одному Богу известно, какое отношение имела лавка Бентьена к высокой политике.

– Антон! – дрожащим голосом позвала консультша. (Антон был занят уборкой серебра в большой столовой.) – Поди вниз, запри дверь! Все запри! Это народ...

– Да как я пойду, сударыня, – отвечал Антон. – Я господский слуга, они, как увидят мою ливрею...

– Злые люди, – печально протянула Клотильда, не отрываясь от своего рукоделия.

В эту самую минуту из ротонды через застекленную дверь вошел консул. В руках он держал пальто и шляпу.

– Ты хочешь выйти на улицу, Жан? – ужаснулась консультша.

– Да, дорогая, мне нужно в...

– Но народ, Жан! Революция!..

– Ах, Боже мой, это не так страшно, Бетси, все в руке Божией. Они уже прошли наш дом. Я выйду через пристройку...

– Жан, если ты меня любишь... О, я боюсь, боюсь!

– Бетси, прошу тебя! Ты так волнуешься, что... Они пошумят перед ратушей или на рыночной площади и разойдутся... Может быть, это будет стоить городу еще нескольких разбитых окон – не больше!

– Куда ты, Жан?

– В городскую думу. Я и так опаздываю, меня задержали дела. Не явиться туда сегодня было бы просто стыдно. Ты думаешь, твой отец позволит удержать себя?.. Как он ни стар...

– Хорошо, иди с Богом, Жан... Но будь осторожен, умоляю тебя! Будь осторожен! И присмотри за отцом. Если с ним что-нибудь случится...

– Не волнуйся, дорогая...

– Когда ты вернешься? – закричала консультша ему вслед.

– Так... в половине пятого, в пять... как освобожусь. На повестке дня сегодня важные вопросы. Мне трудно сказать...

– Ах, я боюсь, боюсь! – повторила консульша, растерянно озираясь вокруг.

Глава третья

Консул торопливо миновал свой обширный участок. Выйдя на Беккергрубе, он услышал позади себя шаги и, оглянувшись, увидел маклера Гоша, который, живописно завернувшись в длинный черный плащ, тоже быстро шел вверх по улице на заседание городской думы. Приподняв одной рукой – длинной и худой – свою шляпу, смахивавшую на головной убор иезуита, а другой сделав жест, как бы говоривший: «Я покорен судьбе», Гош сдавленным, саркастическим голосом произнес:

– Господин консул... честь имею.

Маклер Зигизмунд Гош, холостяк лет под сорок, большой оригинал и натура артистическая, несмотря на свою несколько странную манеру держаться, был честнейшим и добродушнейшим человеком на свете. Черты его бритого лица отличались резкостью: крючковатый нос, острый, сильно торчащий подбородок и рот с опущенными углами; вдобавок он еще поджимал свои тонкие губы с видом таинственным и злобным. Он жаждал – и в известной мере это ему удавалось – выставлять напоказ свою будто бы неистовую, прекрасную, демоническую и коварную сущность, казаться человеком злым, лукавым, интересным и страшным – чем-то средним между Мефистофелем и Наполеоном. Его седеющие волосы низко спадали на мрачный лоб. Он от всей души сожалел, что не родился горбатым. Короче говоря, маклер Гош являл собою образ необычайный среди обитателей старого торгового города. Впрочем, и он был из их числа, так как занимался самым что ни на есть бюргерским, пусть скромным, но в своей скромности все же солидным и почтенным посредническим делом. Правда, в его узкой и темной конторе стоял большой книжный шкаф, доверху набитый поэтическими творениями на различных языках, и по городу ходил слух, что Гош с двадцатилетнего возраста трудится над переводом полного собрания пьес Лопе де Вега. Как-то раз ему довелось сыграть на любительской сцене роль Доминго в шиллеровском «Дон Карлосе». Это был высший миг его жизни. Маклер Гош никогда не произносил ни одного вульгарного слова и даже в деловых беседах самые обычные обороты старался цедить сквозь зубы с таким видом, словно говорил: «А, негодяй! В гробу клянусь я праотцов твоих». Во многих отношениях он был преемником и наследником покойного Жан-Жака Гофштеде; только нрав его был сумрачнее, патетичнее и не имел в себе ничего от той шутилой веселости, которую друг Иоганна Будденброка-старшего умудрился сохранить от прошлого века.

Однажды он в мгновение ока потерял на бирже шесть с половиной талеров на двух или трех акциях, купленных им со спекулятивной целью. Тут уж он дал волю своей любви к драматическим положениям и устроил настоящий спектакль. Он опустился на скамью в такой позе, точно проиграл битву при Ватерлоо, стукнул себя по лбу сжатым кулаком и, подъяв глаза к небу, несколько раз подряд кошунственно произнес: «О, проклятие!» И так как мелкие, спокойные и верные заработки при продаже того или иного земельного участка нагоняли на него скуку, то эта потеря, этот неожиданный удар, ниспосланный Господом на него, многоопытного интригана, явился для маклера Гоша наслаждением, счастьем, которым он упивался долгие месяцы. На обращение: «Я слышал, вас постигла неудача, господин Гош, сочувствую от...», он, как правило, отвечал: «О, друг мой, *Uomo non educato dal dolore riman sempre bambino!*»⁴⁵, чего, разумеется, никто не понимал. Уж не была ли то цитата из Лопе де Вега? Так или иначе, но все знали: Зигизмунд Гош – человек ученый, выдающийся.

– Да, времена, в которые мы живем, – обратился он к консулу Будденброку, шагая рядом с ним и опираясь на трость, как согбенный старец, – поистине времена бурь и треволнений!

⁴⁵ Человек, не изведавший горя, на всю жизнь останется младенцем! (ит.)

– Вы правы, – отвечал консул. – Время сейчас беспокойное. Очень интересно, что покажет сегодняшнее заседание. Сословный принцип...

– Нет, вы только послушайте, – прервал его г-н Гош. – Я весь день бродил по городу и наблюдал за чернью. Великолепные парни, у многих глаза пылали ненавистью и воодушевлением!..

Иоганн Будденброк рассмеялся.

– Вы верны себе, друг мой! Вам это, кажется, по душе? Нет уж, увольте! Все это ребячество, да и только! Чего они хотят? Это кучка распоясавшихся молодых людей, пользующихся случаем побуянить.

– Разумеется! И все же нельзя отрицать... Я был при том, как приказчик Беркенмейер из мясной лавки разбил окно у господина Бентьена. Он был похож на пантеру! – Последнее слово г-н Гош произнес, стиснув зубы почти до скрипа. – О, нельзя отрицать, что все это имеет и свою возвышенную сторону, – продолжал он. – Наконец что-то новое, такое, знаете ли, небудничное, мощное – ураган, неистовство, гроза! Ах, народ темен, я знаю! И тем не менее мое сердце, вот это сердце, оно с ним!..

Они уже подошли к невзрачному на вид дому, выкрашенному желтой масляной краской, в нижнем этаже которого помещался зал заседаний городской думы.

Собственно, этот зал принадлежал пивному и танцевальному заведению некоей вдовы Зуэркрингель, но по определенным дням предоставлялся в распоряжение господ из городской думы. Чтобы попасть в него, надо было пройти по узкому коридору, выложенному каменными плитами, с правой стороны которого располагались ресторанные помещения, отчего там всегда стоял запах пива и кухни; оттуда в зал вела прорубленная слева зеленая дверь без каких бы то ни было признаков замка или ручки и до того узенькая и низкая, что за ней никак нельзя было предположить столь обширного помещения. Зал был холодный, голый, как сарай, с побеленным потолком, на котором четко выступали темные балки, и с побеленными же стенами. Три довольно высоких окна с зелеными рамами не имели никаких занавесок. Напротив окон амфитеатром возвышались скамьи; у подножия амфитеатра стоял стол, крытый зеленым сукном, с большим колокольчиком, папками, в которых хранились дела, и письменными принадлежностями, предназначенный для председателя, протоколиста и комиссаров сената. У стены против двери находились высокие вешалки, до отказа загроможденные верхней одеждой и шляпами.

Гул голосов встретил консула и его спутника, когда они, один за другим, протиснулись в узкую дверь. Консул и маклер Гош явились, видимо, последними. Зал был полон, бюргеры стояли группами и оживленно спорили, кто заложив руки в карманы, кто за спину, кто в пылу спора размахивая ими в воздухе. Из ста двадцати членов думы сегодня явилось не более ста. Некоторые депутаты сельских округов, учитывая создавшиеся обстоятельства, почли за благо остаться дома.

Почти у самого входа стояла группа бюргеров среднего достатка. Два или три владельца мелких предприятий, учитель гимназии, «сиротский папенька» – г-н Миндерман, да еще г-н Венцель, известный в городе парикмахер. Г-н Венцель, черноусый, низенький, плотный мужчина с умным лицом и красными руками, не далее как сегодня утром брил консула Будденброка, но здесь был с ним на равной ноге. Венцель обслуживал почти исключительно высший круг, брил Меллендорфов, Лангхальсов, Будденброков, Эвердигов, и избраним в городскую думу был обязан своей необыкновенной осведомленности во всех городских делах, своей обходительности, ловкости и, несмотря на его подчиненное положение, всем очевидному чувству собственного достоинства.

– Вы, господин консул, уже слыхали, вероятно, последнюю новость? – взволнованно воскликнул он при виде своего покровителя.

– Какую именно, любезный Венцель?

– Сегодня утром еще никто об этом не подозревал... Прошу прощения, господин консул, но это самая что ни на есть последняя новость! Народ движется не к ратуше и не на рыночную площадь! Они идут сюда, чтобы угрожать городской думе! И подстрекнул их на это редактор Рюбзам...

– Да ну! Пустяки! – отвечал консул. Он протиснулся на середину зала, где заметил своего тестя, сенатора Лангхальса и Джемса Меллендорфа. – Вы слышали, что мне сейчас сказали? Можно верить этому? – спросил он, пожимая им руки.

Но в собрании уже ни о чем другом не говорили; смутьяны идут сюда, с улицы доносится шум...

– Сброд! – произнес Лебрехт Крегер холодно и презрительно. Он приехал сюда в собственном экипаже. Высокая, представительная фигура *cavalier a la mode* былых времен, сгорбившаяся под бременем восьмидесяти лет, при обстоятельствах столь необычных опять распрямилась; он стоял с полужакрытыми глазами, надменно и презрительно опустив углы рта, над которыми почти вертикально торчали его короткие седые усы; на черном бархатном жилете старика сияли два ряда бриллиантовых пуговиц.

Неподалеку от этой группы вместе со своим компаньоном г-ном Штрунке стоял Хинрих Хагенштрем, невысокий тучный господин с рыжеватыми бакенбардами, в расстегнутом сюртуке и голубом клетчатом жилете, по которому вилась массивная золотая цепочка. Он даже не повернул головы в сторону консула.

Чуть подальше суконщик Бентьен, человек с виду зажиточный, во всех подробностях рассказывал столпившимся вокруг него членам городской думы о происшествии с его окном:

– Кирпич, господа, добрая половина кирпича! Бац! – стекла вылетели, и он угодил прямо в штуку зеленого репса... Подлецы! Но теперь это дело уже государственного значения.

В углу неумолчно говорил что-то г-н Штут с Глокенгиссерштрассе. Он напялил сюртук поверх шерстяной фуфайки и принимал сегодня особо деятельное участие в дебатах, то есть непрестанно и возмущенно восклицал: «Неслыханная наглость!» – тогда как обычно говорил просто «наглость!».

Иоганн Будденброк обошел весь зал, поздоровался в одном конце со своим старым приятелем К.Ф. Кеппеном, в другом с конкурентом последнего, консулом Кистенмакером. По пути он пожал руку доктору Грабову и перебросился несколькими словами с брандмайором Гизеке, с архитектором Фойтом, председателем – доктором Лангхальсом, братом сенатора, и другими знакомыми коммерсантами, учителями и адвокатами.

Заседание еще не было открыто, но оживленный обмен мнениями уже начался. Все в один голос кляли *этого писака, этого редактора, этого Рюбзема*, который взбаламутил толпу. А спрашивается – зачем? Городская дума собралась здесь для того, чтобы обсудить, должен ли сохраниться сословный принцип в народном представительстве, или предпочтительнее ввести всеобщее и равное избирательное право? Сенат уже высказался за последнее. А чего хочет народ? Схватить бюргеров за горло, вот и все. Да, черт возьми, положение незавидное! Теперь все столпились вокруг комиссаров сената, чтобы узнать их мнение. Окружили и консула Будденброка: считалось, что он должен знать, как смотрит на все это бургомистр Эвердик, ибо с прошлого года, когда сенатор доктор Эвердик, зять консула Юстуса Крегера, стал президентом сената, Будденброки оказались в свойстве с бургомистром, что заметно повысило их вес в обществе.

Уличный шум, доносившийся издали, внезапно послышался совсем близко. Революция прибыла под самые окна зала заседаний! Взволнованные дебаты внутри его мгновенно оборвались! Онемелые от ужаса, скрестив руки на животах, все здесь собравшиеся смотрели друг на друга или в окна, за которыми вздымались кулаки и воздух сотрясаясь от безудержного, дикого и оглушающего рева и гиканья. Затем с поразительной внезапностью, словно бунтовщики сами испугались своей смелости, за окнами воцарилась такая же тишина, как в зале, и среди этого

безмолвия, объявшего все кругом, в одном из нижних рядов амфитеатра, где сидел Лебрехт Крегер, послышалось холодно, злобно и явственно произнесенное слово: «Сброд!»

В углу какой-то голос отозвался глухо и возмущенно: «Неслыханная наглость!» И в это же самое мгновение в зале прошелестел торопливый, срывающийся, таинственный шепот суконщика Бентьена:

– Господа!.. Слушайте меня, господа!.. Я знаю этот дом... Стоит только залезть на чердак... Там есть слуховое окно... Я еще мальчишкой стрелял из него в кошек. Оттуда очень легко перебраться на соседнюю крышу и улизнуть...

– Презренная трусость! – сквозь зубы прошипел маклер Гош; со скрещенными на груди руками и поникшей главой, он сидел за председательским столом, вперив в окно взор, грозный и устрашающий.

– Трусость, сударь, как так? Черта ли... они бросаются кирпичами! Я уж посмотрелся... Хватит!..

Тут с улицы снова послышался шум. Но теперь он уже не был бурным и неистовым, как вначале, а звучал ровно и непрерывно, напоминая какое-то назойливое, певучее, даже довольное жужжание, только время от времени прерывавшееся свистками и отдельными выкриками, прислушавшись к которым можно было различить слова: «принцип», «гражданские права». Городская дума внимала им в почтительном молчании.

– Милостивые государи, – несколько минут спустя приглушенным голосом обратился к собранию председатель – доктор Лангхальс. – Надеюсь, что, объявив наше собрание открытым, я поступлю в согласии с вашими намерениями...

Это было всего только товарищеское предложение, но оно не встретило ни малейшего отклика.

– Нет, уж простите, меня на мякине не проведешь! – произнес кто-то решительно и без стеснения. Это был некий Пфаль из округа Ритцерауэр, человек явно крестьянского обличья, депутат от деревни Клейн-Шратштакен. Никто еще не слышал его голоса ни на одном из собраний, но при данном положении вещей мнение лица даже самого заурядного легко могло перевесить чашу весов. Г-н Пфаль, наделенный верным политическим чутьем, безбоязненно выразил точку зрения всего собрания.

– Боже нас упаси! – с негодованием произнес г-н Бентьен. – Если сидишь там, наверху, так тебя видно с улицы. Они бросаются кирпичами! Нет, благодарю покорно, с меня хватит.

– Да еще эта дверь, будь она неладна, такая узкая! В случае если придется бежать, мы друг друга передавим!

– Неслыханная наглость! – проворчал г-н Штут.

– Милостивые государи, – опять настойчиво заговорил председатель, – прошу вас учесть, что я обязался в трехдневный срок представить правящему бургомистру протокол сегодняшнего заседания. Город ждет, протокол наш будет опубликован в печати... Я бы считал нужным проголосовать, открывать заседание или...

Но если не считать нескольких членов думы, поддержавших председателя, никто из присутствующих не захотел перейти к повестке дня. Голосовать не имело никакого смысла. Опасно раздражать народ, – ведь никто не знает, чего он хочет, – так как же принимать решение, которое может пойти вразрез с желанием народа? Надо сидеть и ждать. Часы на Мариенкирхе пробили половину пятого.

Бюргеры всячески старались поддержать друг друга в решении терпеливо ждать. Они уже стали привыкать к шуму на улице, который нарастал, стихал, прекращался и начинался снова. Все немного поуспокоились, стали устраиваться поудобнее, кое-кто уже сидел в нижних рядах амфитеатра и на стульях. В предприимчивых бюргерах начала пробуждаться потребность действовать, то тут, то там уже слышались разговоры о делах; в каком-то углу даже приступили к заключению сделок. Маклеры подсели к оптовикам. Все запертые здесь господа теперь болтали

друг с другом, как люди, которые, переживая сильную грозу, говорят о посторонних вещах и лишь изредка с робкой почтительностью прислушиваются к раскатам грома.

Пробило пять, потом половина шестого; наступили сумерки. Изредка кто-нибудь вдруг вздыхал: дома жена дожидается с кофе, – и тогда г-н Бентъен позволял себе напомнить о чердачном окне. Но большинство придерживалось в этом вопросе мнения г-на Штута, который, грустно покачав головой, объявил:

– Что касается меня, то я для этого слишком толст!

Иоганн Будденброк, памятуя просьбу жены, пробрался к тестю и спросил, озабоченно глядя на него:

– Надеюсь, отец, вы не слишком близко приняли к сердцу это маленькое приключение?

Консул встревожился, увидев, что на лбу Лебрехта Крегера под коком белоснежных волос вздулись две голубоватые жилы; одна рука старика, тонкая и аристократическая, теребила отливающие всеми цветами радуги пуговицы на жилете, другая, украшенная бриллиантовым перстнем и лежавшая на коленях, дрожала мелкой дрожью.

– Пустое, Будденброк, – проговорил он с какой-то бесконечной усталостью. – Мне скучно, вот и все! – Но тут же сам изобличил себя во лжи, процедив сквозь зубы: – Parbleu, Жан! Этих грязных оборванцев следовало бы с помощью пороха и свинца обучить почтительному обращению... Мразь! Сброд!..

Консул успокоительно забормотал:

– Да, да!.. Вы правы, это довольно-таки недостойная комедия... Но что поделаешь? Приходится и виду не подавать. Уже стемнело. Они скоро разойдутся...

– Где мой экипаж?.. Пусть мне немедленно подадут экипаж! – вдруг, выйдя из себя, крикнул Лебрехт Крегер; его ярость прорвалась наружу, он дрожал всем телом. – Я приказал подать его к пяти часам! Где он?.. Заседание не состоялось... Что мне здесь делать? Я не позволю себя дурачить!.. Мне нужен экипаж!.. Они еще, чего доброго, напали на моего кучера? Подите узнайте, в чем дело, Будденброк!

– Отец, умоляю вас, успокойтесь! Вы раздражены... это вам вредно! Конечно, я пойду и узнаю, что там с экипажем. Я и сам уже сыт всем этим по горло. Я поговорю с ними, предложу им разойтись по домам...

И, несмотря на протест Лебрехта Крегера, несмотря на то что старик холодно и уничтожительно отдал приказ: «Стоп! Ни с места! Вы роняете свое достоинство, Будденброк!..» – консул быстро направился к выходу. Когда он открывал узенькую зеленую дверь, Зигизмунд Гош схватил его за плечи своей костлявой рукой и громким страшным шепотом спросил:

– Куда, господин консул?

На лице маклера залегло неисчислимое множество складок. Когда он выкрикнул: «Знайте, я готов говорить с народом!» – острый его подбородок, выражая отчаянную решимость, подтянулся почти к самому носу, седые волосы упали на виски и мрачный лоб, а голову он так втянул в плечи, что и впрямь казался горбуном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.